

”Я — ЧЕЛОВЕК РУССКИЙ“

От Баньоли, пригорода Неаполя, до врезавшейся в море острой косы Поццуоли весь берег густо усыпан купальными кабинками. По вечерам, когда спадает жара, вагоны трех ведущих сюда линий метро, трамвая и электрички выбрасывают крикливую толпу веселых купальщиков. Кабина стоит двести лир. Нам, баньольским дипийцам, такой расход не по карману. Да и к чему он, когда можно, выбрав пролет между кабинными поселками, спокойнейшим образом перелезть через ограду набережной, выбрать под нею подходящий плоский камень и, непринужденно расположившись на нем, пользоваться всеми морскими радостями абсолютно бесплатно. Даже интереснее: тут и медузы, тут и крабы, тут и настоящие неаполитанские лаццарони, которым американские туристы деньги платят за позирование перед фотоаппаратами.

А выкупавшись и постояв в позе Пушкина (по Айвазовскому), любуясь голубеющим вдали Капри, можно заглянуть и в прибрежную кафетерию. Поллитра кианти — шестьдесят лир, и сиди с ним весь вечер, слушай море, вопли осликов, песни бродячих певцов — ту Италию, которой ни в Риме, ни во Флоренции, ни в Милане уже не увидишь. Неаполитанский юг любит свое прошлое и не хочет с ним расставаться.

Сегодня воскресенье, и я с трудом нахожу место в набитом купальщиками кафе-поплавке. Купальный костюм имеет здесь все права гражданства; выпить чашечку густого кофе или глоток коньяку, а потом опять в голубую теплынь волны!

Музыкальных гастролеров тоже больше, чем в будни, и их репертуар разнообразнее. Сейчас вихрастый парень с гармонией, отдав должное традиции тягучей, как сироп "Санта Лючия", заплатил современности навязчивым модным фокстротом, а потом заиграл "Катюшу". Это в порядке вещей: после войны "Катюша" успешно конкурирует с устаревшей "Лючией", а "Стенька Разин" даже вытесняет "Стелла дель маре" . . .

В вихрах парня что-то не итальянское и как-будто знакомое. Где я их видел? Разве вспомнишь это теперь, разве разыщешь этот кадр в прошедшей перед глазами калейдоскопической киноленте? Но знакомое . . . знакомое . . .

Парень закидывает за спину трехрядку и теперь в его правой руке маленькая гармошка, а левой он подносит к губам какой-то похожий на черную раковину снаряд. Гармошка взвивается кверху, стремительно опускается и начинает четко выговаривать:

Как по улице Варваринской
Шел-бежал мужик комаринский . . .

А раковина подсвистывает ей, как Соловей-разбойник:

Эх, боярыня ты Марковна,
У тебя ли шуба бархатна . . .

Бронзовый юноша-купальщик в трусах пытается вложиться в залихватский ритм фокстротной закачкой, но это не выходит и он начинает выколачивать чечетку босыми пятками. Мои соседи подстукивают пивными кружками. Песня русской беспредельной равнины яркою, пестрою лентою вьется над голубым волнистым заливом.

Парень обрывает лихой подсвист и гордо произносит:

—*Io sono homo russo!* Я — русский человек!

Затерявшийся в калейдоскопе кадр выныривает из пестрого месива памяти и становится перед моими глазами.

—Алеша, — кричу я, — Алеша Пшик! Русский человек!

Декоративная часть вынырнувшего кадра очень далека от окружающей нас обстановки.

... Набитый беженцами товарный вагон. Посредине его — горящая печка; вокруг нее плотное, сбитое войлок кольцо людского месива, а над ним, стоя на куче мешков, вот этот самый Алеша играет на этой самой гармошке ту же самую залихватскую песенку и покрывает:

—Веселей! Жизни давай! Мы — русские люди!...

Алеша Фролов мой земляк по Ставрополю. У его тещи там домик на Подгорной улице. Но знали и звали там Алешу не Фроловым, а Пшиком. Таков был псевдоним его, эстрадного музыкального иллюзиониста, игравшего на гармониях, метлах, бутылках "рыковской", сиренах авто и каких-то совсем непонятных инструментах.

Вдруг разом происходят три события: вагон сотрясается на стрелке, дверь открывается сама собой, песня обрывается и Алеша орет со своей эстрады:

—Стой! Бабку потеряли!

Дальше крики, свистки, гудки, остановка маневрировавшего поезда и бабка, Алешина теща, сидящая на снегу и ругательски ругающая ни в чем неповинного Алешу.

—Чорт лупоглазый! Нашел время песни играть!

—Я — русский человек, мамаша, и без песни жить не могу...

—Чуть до смерти не убилась через твои, идола, песни... Чего суешься? И сама в вагон влезу!

Приехав в Киев, мы с Алешей потеряли друг друга, чтобы встретиться снова здесь, на берегу Неаполитанского залива. В причудливом узоре сплетаются в наши дни пути русских людей.

—Какой чорт занес вас сюда, Алеша?— трясусь я его за плечо. —Садитесь, пейте и рассказывайте, почему вы здесь?

—Я здесь потому, что я русский человек, — веско и убежденно отвечает Алеша.

Но такое логическое построение мне непонятно, и я требую разъяснений.

—Очень просто, — отвечает Алеша, — в Киеве, на беженском пункте регистрируюсь, пишу фамилию сценическую, конечно, известную... Майор читает и что-то по-немецки начинает лопотать. Я же, как вам известно, кроме "гут" — ни гу-гут. Однако, вижу, что дело на мое колесо поворачивается: скажет майор "Пшик", тыкнет меня пальцем в живот и улыбается. Я планирую: наверное, он меня по сцене знает, и ему в ответ: "гут". Он мне тоже: "гут"? И я ему: "гут". Дал мне бумагу какую-то подписать, талоны в столовку на всю семью, а ефрейтор в комнату отвел. Очень хорошая комната, и дрова... Недели не прошло -- приходит вахтмейстер с переводчиком. "Собирайся, -- говорит, — в Германию со всем семейством." "На какого она мне чорта, Германия, — отвечаю, — я — человек русский!" "Нет. Ты — немец, фольксдейч, по собственному твоему заявлению..." Бабка разом запсиховала: "Вот, — кричит, — до чего нас твоя музыка довела! На немцев повернули и в Германию гонят, а у меня, слава Богу, дом еще неотнятый на три комнаты и сарай..."

Однако, делать нечего, у немцев во всем порядок, тем же вечером и уехали мы в Мюнхен.

—А там в "остовцы" на работу попали?

—Нет, извиняюсь, у немцев такого порядка нет, чтобы артиста к станку ставить! В Германии нам мировая житуха была! В Мюнхене мне обратно комнату дали, полное содержание, зарплата 300 марок и ежедневные выступления в солдатских клубах. Успех — мировой!...

—По-немецки там выучились?

—На какого это чорта? Я — человек русский и всех немцев там русским песням выучил. Куда ихним Бетховенам со своими "Лили Марлен" до нас! Как выйду на эстраду, весь зал орет: "Тройка! Тройка!" Это я их "Гайда тройке" и "Тройка мчится" обучил — их с глухими бубенцами исполняю, а вся солдатня подпевает. Вот как!

—Ну, а как же в Италию попали?

—Обратно очень просто. Назначили меня в турне на итальянский фронт. В Венеции капитуляция пристукнула. Наши русские армяне говорят: "Мы в свой монастырь — есть здесь такой — спрячемся, а тебе амба...". Армянский батальон там стоял... Говорят: "Толай ты в Болонью, там поляки. У них ховайся...".

—Нашли поляков? Приняли вас?

—Ну, а как же? Прихожу к полковнику и говорю: "так и так, я человек русский, и, кроме как к вам, деваться некуда. Гроб." Поляк попался сознательный, сочувственный, оценил ситуацию. "Ладно,— говорит, — оставайся. Только записать тебя надо поляком, по фамилии Пшек, всего одна буква разницы, а по-польски это складнее получается...". "Мне,— говорю, —этой буквы не жалко, пан полковник, чорт с ней, только я человек русский...". "И я сам,— говорит, —по существу русский офицер, а вместе с тем — поляк. Ничего не поделаешь!..." Ну, и я "и" на "е" переменял и стал как бы врид-поляком...

—Каково же вам жилось?

—Знаменито в мировом масштабе! Играл по вечерам в офицерской кantine. Зарплаты, правда, не давали, но английский паек на всю семью. Жена с тещей стиркой на солдат занимались... пока поляки в Англию не поехали.

—А вы куда?

—Мне полковник сказал, что в Англию меня протасовать невозможно — контроль очень строг, и к украинцам меня направил, в Милано... Я было обрадовался, а вышло совсем даже наоборот.

—Как это наоборот?

—Очень просто. Я к ним со всей душой, свои ведь... "Я, говорю, русский человек", а они "не разумем москальской мовы"... Я, конечно, ставрополец, сам не хуже их по-украински балакаю, а тут зацепило меня... Растакие вы сякие, думаю, когда я вам в Киеве куплеты пел, так разумели? Вынул свою "малютку" да и затянул под нее:

"Ще не вмэрла Украина,
"Може скоро вмэрти,
"Бо такие голодранци
"Довэдуть до смэрти . . . "

—Ну?— спрашиваю я.

—Еле ноги унес . . . вот вам и "ну". Итальянские карабинеры отстояли, однако препроводили в лагерь Римини за проволоку.

—Это до выдачи Советам было или после?

—Аккурат через неделю. Там — полная паника . . . Все русские, кто в чехов, кто в сербов, кто в мадьяр перелицовываются . . .

—А вам в кого пришлось превратиться?

—Ни в кого. Надоело мне это. Комендант мне говорит: "возвращайтесь на родину", а я ему: "извиняюсь, я — человек русский, сами туда катитесь, а я подожду . . ." Подрезал ночью проволоку и . . . к тузу десятка — ваших нет! Ариведерчи, о-кей, грацие!

—А жена и бабка?

—И они выползли. Я дыру по-стахановски размахнул. Рекордную. И ящик с инструментами выволок. Деньжонки были, подался сюда, в Неаполь, белое соджорно выхлопотал . . . Ну, и живу!

—А за океан как же? ИРО вам не миновать.

—Пускай она сама за океан плывет. Я — человек русский, мне отсюда до дому ближе. Живу и проживу. Синдикат на эстраду не пускает? Не возражаю. Мало, что ли, остерий? Портовая матросня во как меня встречает — мировой успех! Да что мы с вами ради встречи эту кислятину тянем? —Камарьеро! Уна бутилья Асти да милле лире! Шипучего . . . Мы — люди русские!

Бутылка во льду вызывает сенсацию среди итальянцев.

—Русси . . . русси . . . — проносится по кафэ.

Алеша лихо взбивает свои вихры. Мы чокаемся.

—На чорта мне этот океан с его Америкой? Зато здесь я человек русский, хоть на плакат меня ставь . . . Одно только плохо, — сбивает вихры на лоб Алеша.

—Что же?

—У итальянцев буквы "шэ" совсем не имеется.

—Вам-то до нее какое дело?

—С фамилией моей некультурно получается. "Псих. ко" меня матросня зовет... Выходит не то псих, не то психина... Не сценично по моей известности...

С В Е Т В О Т Ь М Е

—Коли у тебя эта печка затухнет, тебе ее распалить на полдня хватит. Мало того, что картошку эту поморозишь, а заглянет качественница — стерва она первейшая — под штраф трудодней на пять влетишь! Тото! А хворост — не дрова, он враз перегорает. Так что спать не придется . . .

Петр Иванович Нудин, как числится он по колхозным спискам, или Зануда, как именуется он в просторечье, заканчивает свою обширную, многословную инструкцию. Он бригадир № 3 пригородного колхоза имени Сталина и мое прямое начальство. Я же — ночной сторож полевой стоянки того же колхоза, затерянной в степи, в семи верстах от города. В моем ведении беспорядочно стоящие под открытым небом сельхозмашины и три укутанных талой весенней землей бурта картошки. Да еще сарай с отборной картошкой, бионтезируемой по способу академика Лысенко, т. е. искусственно проращиваемой в теплом помещении до посадки. Способ этот, кстати сказать, спокон века знали подмосковные огородники, но теперь он — "достижение". А мне что? Пусть его "достигают" . . . Вот топить эту печку сырыми прутьями действительно хлопотно: смотри за ней всю ночь, как за малым дитем!

Об этом и предупреждает меня Зануда. Он берет в свою корявую лапу пучок этих прутиков и внушительно трясет ими:

—Разве это дрова? Это . . . , а не дрова! Этими бы дровами да по . . . кого следует!

Приходится ставить многоточия, так как речи За-

нуды всегда слишком образны и реалистичны. За это он и получил свое прозвище. Двадцать лет колхозной бесхозяйственности не приучили Петра Ивановича не замечать всех ясных для его крестьянского глаза "дефектов производства", а заметив их, он не может не ругаться. Таким образом, сквернословить ему приходится от зари до зари. Поэтому он и Зануда.

В колхозе его не любят. Живет он обособленно, одиноко со своей старухой. Был, говорят, и сын, но куда-то исчез.

— Коли ночью собаки забрешут, вскакивай и матерись, что есть голосу! — поучает меня дальше Зануда. — Однако, к буртам не беги, от дверей матерись. Коли бабы или ребятишки, так они спужаются голосу, а если, как надясь, мобилизованные вот приходили картошку с буртов воровать, так они тебе голову проломают. Понял? Ну, прощевай. Утром приду — домой тебя сбегать пушу.

Так и потянулись мои колхозные дни, вернее ночи. Просиживаю их около печки, в моем "бионтизационном питомнике" и читаю при ее вздрагивающих отблесках грациозные стихи Ростана, отточенные Щепкиной-Куперник... Залают Шарик и Алгебра, (Бог весть, кто назвал так здоровенного рыжего кобеля!), выскочу за дверь и ору в лиловую тьму мартовской ночи совсем не ростановские словесные сочетания... На утренней заре набиваю картошкой оба кармана брюк. Входит в них почему-то двадцать одна картофелина: в один — десять, в другой — одиннадцать. Это дневное пропитание моей семьи: жены, старушки-тетки и трехлетнего Лоллюшки. Кроме этих картошек, они получают по 400 граммов черного хлеба, за которым тетя простаивает всю ночь в очереди, и иногда жене удается добыть на своей службе в горздраве маленькую булочку для сына. Но это не всегда: за булочками в буфет пробиваться очень трудно, давка, озлобленная ругань, почти драка... Вот почему и приходится мне набивать карманы пророщенным по способу академика Лысенко картофелем, хотя этот

эксперимент легко может мне обойтись в 10 лет концлагеря по закону "7-го августа".

Но почему же я променял ранней весной 1942 года кафедру в институте на печку в колхозном сарае? Да и не я один: в лесной сторожке того же колхоза обитает мой коллега Воскресенский, но его участок хуже моего: там картошки нет. Почему?

В первые же дни войны все студенты были мобилизованы, остались лишь девушки. Число групп, а следовательно и наших лекций сократилось вдвое, как и оплата их. Волна бегущих с запада коммунистов и активистов смыла и эти остатки нашего заработка: нам предложили "добровольно" передать "пострадавшим" половину наших часов. Математику стали читать минские бухгалтеры, а литературу — херсонские профработники, мы же лишь расписывались в ведомостях, по которым все остатки нашей зарплаты поглощали взносы по займу, столь же "добровольно" подписанному из расчета наших полных довоенных ставок.

Вот и пришлось нам, профессуре, разбегаться по колхозам. Здесь помесечной зарплаты нет, следовательно нет и вычетов, но можно при известной ловкости перехватить продуктовый аванс в счет трудодней: пудик серой муки, отрубей, овощей. Это много дороже денег, так как с первого дня войны и в магазинах и на базаре — хоть шаром покати! Пусто! Кое-что лишь тайком меняют на одежду, но и для этого нужны колхозные знакомства. Впрочем, нам и менять уже нечего. Осталась у меня всего одна пара поношенных ботинок, но и те берегу, не ношу, а бегаю на свою колхозную сторожевку в старых, заплатанных обрезками велосипедной шины мелких галошах. Подвязываю их веревочками и шпарю семь верст по мартовским лужам... Семь верст туда, семь — обратно! Зато домой принесена 21 картошка: с голода пока еще не пухнут, только сынишка стал каким-то прозрачным...

В этот день, когда я, поспав дома пару часов, со-

бирался возвращаться на сторожежку и искал в сваленных в угол книгах очередной томик Ростана, старушка-тетя тронула меня за плечо.

— Босинька, — так звала меня эта тетка жены, ставшая мне почти родной матерью, — Босинька, вы сегодня эту почитайте... Ночь-то какая — знаете?

Я удивленно посмотрел на старушку и на истрепанное, без переплета, Евангелие в ее сведенной ревматизмом морщинистой руке.

— Какая ночь? — недоумеваю я.

— Святая, Босинька! Страстная Суббота сегодня... А Лоллиньке и разговеться нечем! — вдруг всхлипывает она и прячет всхлип в угол старой вязаной шали.

И вот... Шипят и пузырятся сырые прутья в печке. Часов у меня нет — выменены на муку, но чувствуется, что близко к полночи. Я отрываю глаза от ветхих, пожелтевших листов Вечной Книги.

"Он воскрес, как сказал"... повторяю я последние прочтенные в ней слова, поднимаюсь со своего обрубка, открываю дверь сарая и во всю силу своего голоса мечу в пустынную тьму огненные, несокрушимые слова:

— Да воскреснет Бог, и да расточатся врази Его!

Кто слышит их? Лиловая завеса мартовской хрупкой ночи окутывает пустынную степь. Я один. Но откуда-то из потаенных глубин души, из забытого угла опаленного, замученного, засрамленного, замусоренного сердца доносится давно — ох, как давно! — неслышанная песнь:

"Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на небесех"...

Звуки той песни я ловлю сердцем, а слышу реально, чувственно, ушами слышу напевы невидимого хора... Нет ни степи, ни ночи... только напевы... только...

...Шарик и Алгебра ожесточенно кого-то атаковали, но тотчас же смолкли. Значит, свои, колхозные, рискнули на вылазку к бурту за помороженной, за-

гнившей картошкой. Надо ведь пугнуть их, но разве это возможно сейчас, на рассвете этой ночи? Подвиснуть к себе собак? Нет, тоже не надо! Услышат, испугаются и убегут. Пусть лучше думают, что сплю около своей печки.

Я отступаю в сарай и тихо притворяю за собой дверь. Господи Боже! Печка-то перегорела! И в сарай холода напустил, продержав часа три дверь открытой. Скорее, скорее, пока не накрыл меня с поличным Зануда, а то будет дело! Я судорожно выгребаю рукой золу, обжигаясь о мелкие, тлеющие в ней угольки, шарю по карманам в поисках бумаги... Чирк... чирк... колесико зажигалки отлетает.

— Кончено! Попался! Не выговор, не штраф страшен, а то, что продуктового аванса наверняка не дадут, да и Зануда меня изгрызет...

А он сам уж тут, как тут, стоит надо мной и сумрачно смотрит на потухшую печку.

— Говорил тебе, упреждал... — скрипит он и вдруг обрывает скрип. Шарит под своим просмоленным вековечным кожухом, вытягивает завернутый в обрывок "Правды" пакетик и сует мне.

— Возьми вот, пацану твоему старуха велела... Куличик-то, конечно, серый... Какие теперь куличики! А яички по форме, крашеные... Ну, Христос воскрес! — расправляет он свои дремучие усы и притворяет дверь.

— Воистину! —

Мы троекратно целуемся, и в сарае становится будто теплее...

— Сыпь до дому. Печку я сам разведу, — почти свирепо приказывает мне Зануда. — Постой! Там кто-то крайний борт разворотил. Так ты того.. заравняй, чтоб глазу не было... Понял?

Я не бегу, а лечу по похрустывающим ледяной корочкой лужам, залетаю с разгона на тонкую пахоту, выпрыгиваю из нее, как козел. Подхватываю на шоссе какой-то кусок древесины: дров-то ведь дома нет! Снова лечу. Вот и пригород. Хлюп! Задняя половица

правой галоши начисто отлетела. Итти в одной очень неудобно, да и к чему одна? Долой! "Разумшись ловчее" говорили когда-то наши мужики... Еще рано, и на улицах почти никого нет. Ходу! Проскочить бы площадь перед институтом во-время! Проскочил! Теперь на своей Подгорной знакомых не встречу... Ходу!!!

— Борюшка! Босой! — всплескивает руками тетя.

— Христос Воскресе! — вытаскиваю я из-под одеяла теплого, пахнувшего сном сынишку и сую ему в ручки покрашенные луком мужицкие писанки.

— Веси... вои... — пытается он выговорить подсказанное матерью непонятное, неизвестное слово и вдруг целует нас поочередно.

Я вижу слезы в глазах жены. Видит их и она в моих...

ДЕВУШКА И ГРИФЫ.

— Кто же из вас Шир, товарищи? —

Вошедшая в редакционную комнату культотдела "Правды Востока" остановилась на ее пороге и пытливо осматривала каждого из нас. Угадать на самом деле было трудно. Все трое сидевших в ней — зав. отделом Саша Воробейчик, рецензент Гафиз и я, разъездной корреспондент — были приблизительно одного возраста, между тридцатью и сорока годами, одинаково одеты в белые неопределенного сорта материи брюки и белые же рубахи с расстегнутыми до отказа воротами. Ртуть термометра переваливала за цифру 40.

— Вы? — ткнула она пальцем в тяжелый заводской письменный прибор Воробейчика.

— Он! — ткнул тот в свою очередь в мою сторону.

Девушка, видимо, удивилась. Мой скромно приютившийся в углу столик, за который я садился лишь эпизодически, возвращаясь из поездок, не внушал ей доверия.

— Ох, сморилась! — плюхнула она на единственный свободный стул, беспризорно скитавшийся от стола к столу и в данный момент стоявший среди комнаты. — Жар як у пекле, хай ему бис! — потом она пододвинула стул к моему столику, сунула под него скинутый с плеч кап — домотканый мешок, какие готовят киргизки, и отрекомендовалась:

— Я Таня Кы!

Столь странная фамилия мне ничего не говорила. Я удивленно поднял брови.

— Не помните? — с ноткой обиды в голосе качнула головой пришедшая. — А сами тогда обо мне написали: Таня Кы... Стихи свои тогда говорила, в Токмаке...

Теперь я вспомнил. В прошлом году, проезжая через Токмак — паршивый, степной Семиреченский городишко, на тракте, идущем по Чуйской долине к Иссык-кулю, я попал на школьный вечер и написал очерк о казачьей и киргизкой молодежи, которую увидел на нем. Упомянул и о девушке, только лишь переставшей тогда быть подростком, читавшей на этом вечере свои стихи. В этих стихах мне понравилась не их примитивная, часто грешившая версификация, но искренность, звучащая в каждой строке, стремление сказать о виденном, прочувствованном их автором, о маках и тюльпанах, покрывавших радужным ковром Чуйскую долину в те весенние дни, о замыкающих ее синих громадах лесистого Тунь-Шаня, о том ощущении силы, свободы и радости жизни, которое охватывает душу при взгляде на них. Эти наивные стихи не были похожи на тупые рифмы правоверных комсомольцев, печатавшиеся беспрерывно в молодежных газетах, и даже неблагозвучное сочетание "речка Чу" и "полечу" заставило верить в подлинное стремление их автора к полету. А когда Таня произносила эти строки, то так порывисто раскинула руки и потрянула головой, что закрученные на ней русые косы раскололись и упали ей на плечи.

Я поверил тогда владевшему ею стремлению расправить свои крылья. Русым косам может быть больше чем словам поверил.

— Только я не "Кы", а "Пы". Понимаете? Не Клименко, а Племенко. Наше фамилие по всему Семиречью известное, а вы напутали. Ну, ничего! У нас все тогда догадались, что это про меня!

Так и сказала моя семиреченская поэтесса: наше фамилие... Ну, ничего! — подумал и я про себя.

— Теперь вспомнил! Вы, Таня, на меня не сердитесь за ошибку: многих людей вижу, записываю наскоро, могу и спутать.

— Хай с ней, с буквой! Я теперь к вам пришла.

Таня сбросила с головы выжженную солнцем кумачную косынку и обтерла ею с лица пот и пыль, вернее размазала по нему и то и другое. Потом почесала большим пальцем левой ноги икру правой, и тут только я заметил, что она босая.

— Комары заели нынче ночью... Сколько их тут у вас в люцерне — страсть! А в горах ничего, не кусали.

— Ты что ж, на подводе ехала, что ли? — перешел я на ты. По советскому панибратству? Нет, захотелось. Захотелось говорить ты этой пахнувшей степным привольем девушке.

— Нет, не на подводе.

— А какие же комары в вагоне?

— За вагон деньги требуют... Пешком я шла, — несколько смутившись, ответила Таня.

— Из самого Токмака?

— Оттуда.

— Сусамырским перевалом на Ош? — изумился я, так как сам недавно проделал верхом этот трудный путь верст в четыреста через высокогорный заснеженный перевал, а потом по душной, как баня, Ферганской долине. — Так босая и шла?

— Зачем босая? Из дому в справных ботинках вышла. В горах побились — в Оше бросила.

— Чего тебе от меня вообще в Ташкенте нужно? С какой стати ты перла?

— Не хочу в докторицы.

— Не хочешь, ну и ладно. Зачем же для этого в Ташкент пешком итти? И почему в докторицы?

Дальнейший рассказ Тани Кы или вернее Пы был довольно несвязен и часто прерывался весьма нелестными эпитетами по адресу секретаря Токмакского горкома комсомола, человека, видимо, очень "вредного",

”гада“, действующего ”по злобе“, ”завиствовавшего“ поэтессе, о которой в газетах пропечатали.

— Не бывать тебе на литфаке, говорит. Вот гад! Орденоносный ленинский комсомол тебе медицинскую линию указывает. Уклонов быть не может. Получай путевку в мединститут — и точка! Не взяла путевки и сама пошла. Я на литфак хочу: книжки читать, стихи писать . . .

— Как Маяковский?

— Ну его! Как Есенин буду писать. Или еще как Толстой . . . Не главный, а другой, какой про колокольчики стих сочинил. Мне его учителька давала. У нее есть, а в библиотеке нет. И других, какие я хочу, там нет: Шекспира, Бальзака.

Ударение оказалось у Шекспира на первом слоге, а у Бальзака на последнем. Рецензент Гафиз скорчил забавную рожу и приготовился к розыгрышу, но умолк под укоризненным взглядом Воробейчика, тихого еврея, случайно, по партийной разверстке попавшего в нашу шумливую газетную компанию. В партию он тоже попал, вероятно, случайно: огромная семья с беспрерывно растущим числом Монек, Сонек и Арончиков всецело поглощала его.

— Почему же ты все-таки пешком пошла, а не на поезде поехала? — продолжал допытываться я.

— Маманя денег не дала. Нечего, говорит. на учење еще деньги тратить. Теперь всех бесплатно учить обязаны. А нет, так дома работай. Она упорная. Я тайком ушла.

— А сколько времени шла?

— Десять ден.

— Чем же кормилась?

— Хлеба из дому взяла. До Оша хватило. Потом киргизы кумысом поили. Теперь лето, матки доятся.

— Сегодня что ела?

Таня неопределенно помахала головой.

— Здесь у вас пески пошли — жило редкое.

Я припомнил этот участок дороги, неорошенный,

пустой... Туговато приходилось Тане в последние дни пути.

— Гафиз, Воробейчик! Тяните по червонцу! Купи себе, Таня, сандалики на базаре и там же пожри, — протянул я ей три белых бумажки.

Она взяла просто, без ужимок.

— Вот вы какие добрые! Ну, спаси Христос!

— У вас в Токмаке еще в Бога веруют? — удивился я.

— У нас по старой вере, без попов. Церкву хотя и закрыли, только нам это ни к чему. И в комсомоле на религию не напирают.

— Теперь слушай дальше. На литфак тебя устроить легко, только чем ты жить будешь? Стипендия ведь пустяковая.

— Живут же другие?

— Большинству помогают кой-чем из дому.

— А я сама себе подработаю. Рук, что ль, нет? Вот они! — протянула Таня крепкие, загорелые до черноты руки. — Здесь у вас сарты богато живут, сад, огород у каждого. Без хлеба не останусь.

Добыть Тане путевку на литфак нам было, действительно, нетрудно. Это стоило лишь телефонного звонка из кабинета редактора, а замред Эйдельсон был чутким, отзывчивым человеком.

На следующий день он сам вручил Тане записку от соответствующего "ответственного", а прощаясь с ней шепнул мне:

— Как раз вам, Шир, по зубам говядина — романтика современности. Чего лучше? Ломоносов с ситцевой юбченкой, к тому же еще босиком переваливает через горы. Жду очерка.

А Таня с покрасневшимися, как маки Чуйской степи, щеками, прощаясь, тоже задержала меня:

— Послушайте, вчера написала, — вытащила она смятую бумажку и прочла мне стихи о снежном перевале и стае черных грифов, стороживших его на голых скалах. Эти огромные птицы с хищными лысыми, как черепа, головами, торчащими из серых воротни-

ков, поразили ее. Она называла их орлами. Стихи грешили и в метрике и в грамматике, но слушая их ясно видел и мистически неподвижных грифов на суровых камнях, и едва заметную тропу на льдистом снегу перевала, и шагающую по ней девушку с тяжелым капом за плечами, и... даже хлопающую на ходу, оторванную подметку...

— Не заклевали тебя грифы, Таня?

— Меня не заключают, — уверенно ответила девушка. — Они только на мертвячину храбры. Ну, прощайте! Всего!

Очерка о Тане я тогда не написал. У него не было концовки, и я решил подождать годик, а потом снова взглянуть на Таню, выждать, чтобы сама жизнь дала мне нужный конец. Ведь лучше жизни не выдумаешь.

Через год, просматривая газетку "Комсомолец Востока", я увидел стихи за подписью Т. Племенко и жадно впился в них глазами.

Прочел, смял газету и злобно бросил в угол. Размер, ударения и грамматика — все было правильно, но... не было в них Тани. Не было ни красных маков весенней степи, ни девушки на перевале.

Заклевали Таню грифы!..

ОКТЯБРИНЫ И ВИСТАЛИНЫ

—Гони природу в дверь, она влезет в окно,— кажется так какой-то древний мудрец говорил... Правильно говорил. Именно в окно. Другого способа нет. А человек разве не природа? Анне Тимофеевне, домкомше — ботинки. Тоже правильно. У крайнего окна шпингалет не работает. Такое сообщение стоит ботинок. Можно даже чулки добавить, раму-то зимнюю она же припрятала. С головой женщина!

Так рассуждал сам с собой, идя со службы в родилку, Петр Степанович Ползиков, экономист Заготскота, беспартийный, но строго лояльный во всех отношениях человек, к тому же счастливый отец неизвестного пока имени гражданки страны осуществленного социализма, насчитывавшей всего восемь дней пребывания в этом счастливейшем государстве мира.

—Томочка, — шептал он через полчаса жене, будучи допущенным в палату, — все улажено... Пони-маешь, я так устроил, что подводу Ивану Петровичу только завтра дадут. Он же всецело на свой ключ упо-вает и о шпингалете не осведомлен. Следовательно, сегодня он шагов не предпримет. Мы же мамашу, по-стель ей и пару чемоданов... стул еще можно прихва-тить для верности... И все в порядке! Закон! — Петр Степанович встал со стула, напыжился и принял про-курорскую позу. —Фактическое проживание! Понят-но? Без предоставления равноценной жилплощади вы-селение состояться не может.

—Заест он тебя потом... Или донос напишет.

—Извиняюсь— голос Петра Степановича снизил-

ся до тончайшего шопота. — Мне за ним известно, а ему за мной — нет. В этом и преимущество планово-экономической специальности над бухгалтерским учетом. Я фактически денежных сумм не касаюсь... Поняла? Смолчит... стопроцентно смолчит!...

— Дал бы Господь! Тогда бы октябрины и новоселье за один раз справили. Много дешевле бы вышло. А имя придумал?

— Есть, капитан! — Петр Степанович снова вскочил со стула и на этот раз так громко, что дремавшая на соседней кровати родильница проснулась, отдельно, по слогам произнес: — И-ви-сталина!

— Как? Я такого имени и не слыхала.

— В этом и весь эффект! Именно — не слыхала. И никто не слышал! Я! Я! — гордо хлопнул себя по лбу Петр Степанович. — Собственноручное изобретение. Гениально, как у самородка, и предельно лояльно.

— А как же его понимать надо?

Петр Степанович хитро прищурился и с видом явного превосходства широкого мужского интеллекта над ограниченным домохозяйским кругозором жены после творческой паузы отдельно произнес:

— И-осиф, Ви-ссарионович, Сталин, а для обозначения половой принадлежности буква "а" на конце... Как?

— А смеяться не будут?

— Какие могут быть смехи? Извиняюсь! — Белесая, остренькая мордочка Петра Степановича разом приняла строгое, даже бдительное выражение. — Извиняюсь! Имя безраздельно любимого вождя, выражаясь конкретно, иносказательного отца воспринято новорожденной энтузиасткой. Где тут смех? За такой смех знаете куда можно угодить? Никаких смехов быть не может.

Томочка с полным признанием своей неполноценности и политической недоразвитости посмотрела на мужа.

— Голова у тебя!

Потом шла долгая беседа о текущих делах, был

составлен список подлежащих приглашению нужных людей и другой — необходимых закупок и добыч. Петр Степанович точно запротоколировал все решения, уложил документ в свой объемистый портфель и значительно произнес:

— Пора! Темнеет.

За окном сгущались зимние сумерки, и когда они загустели до той степени, при которой, несмотря на строгий режим экономии горючего, приходится зажигать лампу, в ворота жакта № 17 въехали дровяные санки, влекомые Петром Степановичем. На них громоздился постамент из корзин и чемоданов, а на нем — пузатый катыш перины, лихо оседланный стулом. За санками шла мамаша, вернее, теща Петра Степановича, волоча ведро, набитое рублеными сучьями. Шла и причитала:

— Не протопивши разве возможно? Заморозить хотел, ирод... Ишь ты, старого человека... Так нет...

— Мамаша, дрова, как внеплановая нагрузка, относятся к самоснабжению. Видите, на санях места нет.

— Сам ты, Ирод безместный... Старому человеку...

Петр Степанович стукнул в форточку освещенного окна. Форточка открылась и словно по радио прохрипела:

— Ничего не видала, ничего не знаю... — и снова захлопнулась.

Петр Степанович сбегал мелкой рысцой к воротам, осмотрел в обе стороны пустую улицу, потом вернулся к дому и, вынув из кармана гвоздь, поддел им раму соседнего с освещенным окна. Оно открылось.

Забросить в комнату чемоданы и стул было просто. Пропихнуть через окно перину — уже труднее, а тещу совсем трудно.

— Ирод, как есть, ирод бесчувственный... Чего старого человека под зад пихаешь?

Теща оттолкнула Петра Степановича и с необычайной для ее лет резвостью взгромоздилась на подоконник.

—Гвозди давай и молоток. Дверь надо изнутри забить.

—Пока! — сделал ручкой захлопнувшемуся окну Петр Степанович. —Завтра перед службой занесу примус и столик.

Но этот утренний его визит никому не был интересен. Интересное для всего населения жакта № 17 началось после служебных часов, когда во двор въехала подвода со скарбом бухгалтера Заготскота Ивана Петровича.

Отперев навешанный им замок и подергав забитую изнутри дверь, он разом уяснил себе всю ситуацию.

—Заскочил, сволочь! Говорил: вчера надо было что-нибудь перетащить... Кто?

Осмотр помещения через оконные стекла позволил обнаружить тещу Петра Степановича, предусмотрительно разводящую руками и показывающую себе на уши:

—Ничего, мол, не слышу!

Но эта мимограмма не остановила потока вдохновенного красноречия Ивана Петровича. Он также подкреплял его соответствующими жестами, то потрясая обоими кулаками, то почему-то снимая рыжую байковую кепку и элегантно помахивая ею в морозном воздухе. Потом стучал в соседнюю форточку. Форточка открывалась и хрипела:

—Ничего не видала, ничего не знаю! Обратитесь в милицию.

И снова захлопывалась.

Тогда Иван Петрович вынимал из бумажника ордер жилуправления и прикладывал его к стеклу. Потом бегал в милицию, возвращался и снова размахивал кепкой. Теща за окном не обнаруживала признаков жизни, и его единоличная дискуссия была, наконец, прервана решительным заявлением возчика.

—Ночевать здесь, что ли, будем? Повертай оглобли, а то барахло скину.

—Ну, обо всем этом мы поговорим в другом месте... — пообещал Иван Петрович окну. Он пытался

иллюстрировать эту реплику жестами, но уже не смог и устало поплелся за возом. В воротах он обернулся, вынул из кармана ключ и, скомбинировав этот предмет с двумя пальцами, утавил его на невидимого врага.

— Сиди под запором, стерва! Чтобы замки ломать — нет правов! Вот!

Именно это его решение и легло в основу того, что все прочие вещи Петра Степановича: стол, кровати и даже дедушкино кресло (от царского времени) транспортировалось в оккупированную им квартиру не через дверь, а по способу, указанному природе древним мудрецом — через окно. Тем же путем была вселена туда и выписанная из родилки Томочка вместе с носительницей имени иносказательного отца всех народов — Ивистиличиной. Так же проследовали туда и гости, приглашенные на единовременное торжество новоселья и октябрин. Для их удобств предусмотрительный Петр Степанович подставил к окну ящик, и проникновение человеческой природы протекало в общем и целом без инцидентов, если не считать чисто-семейного конфликта, произошедшего в самом окне по случаю неудачной подсадки санврача Фаи Исаковны ее тцедушным счетоводом-супругом.

Собрались, можно сказать, почти организованно, как на октябрьскую демонстрацию пролетарской мощи. Гуртиком. И за недостатком для размещения всех свободной жилплощади, сели вокруг стола, уже уставленного планово-расчитанным количеством бутылок и прочего соответствующего. Счастливая мать вынесла виновницу торжества.

— Как соизволили наименовать сию грядущую смену? — осведомился статистик Семен Прокофьевич, позволявший себе ради преклонного возраста старорежимные обороты речи.

Петр Степанович стал в позу гипсового Ильича и даже руку протянул.

— И-ви-сталина! — произнес он и обвел гостей гордым взглядом.

—Это что же? Новоизобретенное лекарство, что ли?— озадачился статистик.

—И-ви-сталина!— назидательно и даже с оттенком бдительности повторил Петр Степанович. —В честь И-осифа Ви-ссарионовича Сталина, мудрейшего вождя и отца народов.

—Вот!— с нескрываемой завистью крикнул зав. транспортом, парень простоватый и еще нездоровый в развитии. —Это загнул. Хватил на все сто! Активистку нашу Рындицу переплюнул: у нее Колхоз бегаёт и Электрофикацию родила...

—И-да-а-а-а... — увесисто резюмировал сам зам. зав. Заготскота Егоркин, красный партизан и орденосец. —Электрификации против Ивисталины не устоять. Курортная путевка на этот год твоя, Петр Степанович. Факт!

Счастливым отцом мечтательно улыбнулся.

—И... ви... сталина... Какое гармоническое созвучие!— почти пропел он. —Однако, товарищи, не пора ли начинать? По первой? А?

Это предложение, принятое всеми с энтузиазмом, было тотчас же реализовано.

—За юную Ивист... — хлопнул рюмку орденосный зам. зав. и поперхнулся.

—Висточкой будете звать или Сталочкой?— осведомился, чокаясь с Томочкой, преклонного возраста статистик.

—По второй, товарищи, за счастливое новоселье!

На пятой счет спутался, так как статистик попробовал передернуть. Его уличили и принудили выпить в персональном порядке. На восьмой бросили счет, а после вынесения Петром Степановичем сверхпланового запаса, утаенного от тещи в соответственном портфеле, решили танцевать. Стол был задвинут в угол, груда пальто и бушлатов переброшена на кровати, патефон захрипел с подплевом прогнивший западно-европейский фокстрот "Под знойным небом Аргентины".

Когда ходики с привешенным к гире полукирпичем показали не то два, не то четверть первого (боль-

шая стрелка была обломана), зам. зав. Заготскот, наваливаясь на увядшего в силу преклонного возраста статистика, внушал ему:

—Социализм — это учет. Так сказал этот... как его... Ленин. Да, Ленин. Ты это учти, потому что ты есть статистика. Не можешь? А я учел... да... Хозяин!— заревел он. —У меня в карманах еще два полулитра заготовлено. Это тебе премирование... за... Ивиста... отца народов... Ищи... Я учел!

Хозяин и зав. транспортом перерыли весь ворох и, наконец, извлекли обе посудыны.

—Социализм есть учет! Наливай всем учетного социализма!... — ревел орденоносный зам. зав. —Распоряжение по заготскоту! И ей налеё, ей — При... Дри... Вристалине! Я, орденоносный заготскот, распоряжаюсь! Давай сюда Вристалину!

Хозяин метнулся к кровати, но ничего, кроме вороха одежды, на ней не обнаружил, выскочил в кухню, но и там, за исключением улегшегося в углу преклонных лет статистика, никого не было.

—Куда дочку дела?— дернул он за рукав жену. —Замзав Сталочку требует!

—Мамаша, куда вы Сталочку положили?

Ответа не последовало.

—И мамаша нет в наличности, — изумленно констатировал Петр Стеапнович, заморгав бесцветными ресницами.

—Врипристалину! Срочно! Требует орденоносный заготскот!— не унимался замзав.

Выползший из кухни статистик водрузил на нос старорежимное пенсне и приступил к осмотру углов. Сам хозяин слазил под стол, потом под кровать, но кроме лохани с мокрым бельем ничего найдено не было.

—Что же это? Как же это? — растеряннно лепетал он.

—Собирайся!— категорически приказала счетоводному супругу докторша. —Давай пальто!

Тот послушно, хотя и не совсем твердо продвигался к выходу.

нулся к вороху и начал скидывать на пол одежду, пытаясь угадать женину.

—Подкладку помню, а верх... какой, собственно говоря, верх?— бормотал он, заворачивая какую-то полу.

—Бесстыдник!— пронзительно взвизгнуло в ворохе. —Куда, фулиган, лезешь... Старому человеку...

—Мамаша!— радостно констатировал Петр Степанович. —Выявлена и занесена на приход.

Ворох взметнулся, потрясенный подземными толчками, распался и рухнул на пол, а из его недр, как Венера из морской пены, вынырнула всклокоченная мамаша, прижимая к груди одеяльный сверток.

—Обе выявлены! Товарищ замзав, все в наличности! Стопроцентное выполнение плана.

Орденосное начальство приподняло со стола отяжелевшую голову и увесисто прохрипело:

—Приветствуем грядущую смену орденосного заготскота... Придривристалину!

МУСИНО СЧАСТЬЕ

— Ты что ж это, мать моя, и родить в классе думаешь?

Анна Семеновна положила на ближайшую парту обе связки подлежащих проверке тетрадок и грозно уперла обе руки в боки. Муся отжала над ведром мокрую тряпку, с трудом выпрямилась, поморщившись от боли в пояснице, и вытерла нос подсученным рукавом.

— А что делать? Сами знаете, Анна Семеновна, в школе-то я шести месяцев не прослужила еще, значит, по бюллетеню двадцать пять процентов дадут, двадцать рублей на месяц мне выйдет... На хлеб не хватит. Только вы не сумлевайтесь, я свой срок знаю и никакого беспокойства вам от меня не будет.

— Ой, девка, не хвались! Впервой родишь?

— Впервой.

— То-то и оно... Так ты помни: отвозить тебя в родилку некому.

Анна Семеновна забрала свои тетрадки и величественно выплыла из класса.

Муся снова принялась за мытье пола, но лишь нагнулась, как острая боль снова перепоясала ее.

— Началось, — пронеслось в мозгу Муси, — и корридора домыть не успею... спешить надо. До больницы-то километра три будет...

Милиционеру Хряпову оставалось ровно десять минут до смены. Дежурство прошло спокойно. Все в по-

рядке — пьяных нет, как говорится. Хряпов окинул начальническим взором обе скрещивающиеся улицы.

— Ах, ты... Один валяется... под самую смену! Теперь волокни его в район, валандайся два часа...

Валявшийся под крыльцом пьяный, нарушивший все благополучие дежурства товарища Хряпова, при ближайшем рассмотрении оказался женщиной, уткнувшейся лицом в ступеньки и сотрясавшейся всем телом.

— Того лучше! Припадочная! Значит, везти нужно. А на чем?

Вокруг лежащей уже собирались любопытные.

— Пьяная, что ль? Али так, просто с голоду заслабела?

— Пьяная?! Не видишь, что ль, как ее карежит... Ясно-понятно — скорую помощь надо.

— Не больно она тебе скорая. Помереть разка два успеешь. В таком плане ее расстегнуть надо в первую очередь. Освободить дыхательность. Вы бы, гражданочки, занялись!

Две бабенки, принявшие на себя функции скорой помощи, перевернули больную вверх лицом и тотчас же установили безошибочный диагноз:

— Не видите, что ли? Родит она. Милиционер! Принимай меры!

— А я вам кто? Акушор или хиниколог? Вот придет смена, тогда и за скорой помощью потопаю.

Пришлось бы новому гражданину социалистической родины узреть впервые эту родину из-под крыльца жактовского дома, если бы на его, а еще более на Мусино счастье, не проходила мимо машина с аэродрома. Сидевший в ней летчик оказался человеком отзывчивым. Он не только отвез Мусю в больницу, но всю дорогу заботливо поддерживал ее и успокоительно гладил по сбившимся волосам:

— Не бойся, не бойся, милая... дело обыкновенное...

Обыкновенным, очень обыкновенным было и все предшествовавшее появлению на свет нового подсо-

ветского человека, которого Муся на следующий день впервые приложила к своей груди. Имени он еще не имел. Не имел и не мог иметь и отчества. Три цифры — 173 — порядковый номер рожденных в этом месяце, написанные химическим карандашом на крошечном лобике, составляли весь его паспорт.

— На тебя не похож, — заметила деловито осмотревшая новорожденного соседка Муси по койке, — в отца, что ли?

— Не знаю, — тихо ответила Муся.

Она на самом деле не знала. Ровно девять месяцев тому назад замужняя подружка Муси позвала ее к себе на новоселье. Счастливая была эта Томочка. Устроилась на все сто: мужа подцепила солидного, обстоятельного — завмагом служит; зарплата невелика, а все есть. Ну, и блат, конечно. Мировой муж, можно смело сказать. Вот и комнату с кухней получил, когда ответственные инженеры по углам треплются.

Новоселье справили на красоту. Нужные люди были. Ну, и выпито было порядочно. Всего хватало. Кто далеко жил — ночевать остался. Потушили свет, легли на полу вповалку...

... Был ли то бухгалтер, завмагово начальство, или устроивший комнату инспектор жилуправления, или тот веселый, что на гитаре играл... Муся не знала, да и узнавать было незачем: бухгалтера посадили, инспектор на Камчатку завербовался, а гитарист... ищи ветра в поле!

Такова была обыкновенная, очень обыкновенная история, которую рассказала Муся своей соседке по койке.

А дальше пошло необыкновенное.

**
*

Через день в палату вошел стройный молодой летчик и прямо к Мусе. Поздоровался, ласково расспросил о здоровье, ловко поняньчил занумерованного младенца, даже поцеловал его, обещал навещать, щелкнул каблуками дорогих комсоставских сапог.

— Зовут-то вас как? — спросила на прощание Муся.

— Вaley, — называя лишь имя (такова советская мода) отрекомендовался летчик, уходя.

— "Твой", что ли? — осведомилась соседка.

— Какое! — отмахнулась рукой Муся. — Это тот, что в родилку меня доставил. А мой-то...

— Смотри, девка, само к тебе счастье идет. Вот тебе и алименты готовые! Показывай на него. Присудят. Теперь насчет этого строго. Кто сумеет, так на одно дитю с трех отцов тянет.

А счастье, действительно необыкновенное счастье, само катилось на Мусю. Еще через день в палате появился шофер привезшей Мусю машины. Он положил в ноги Мусе огромный пакет и откозырял:

— От товарища Вересы! — снова козырнул и вышел, конфузливо отворачиваясь от кормящих грудью мамок.

В принесенном им пакете было то, о чем не могла мечтать не только безмужняя мать, уборщица школы Муся, но и все мамки всей родилки вместе взятые.

Счастье! Счастье! Шелковое стеганое одеяльце, рубашечки с кружевцами, пеленки...

— Ну, смотри, все как в старое время! — восклицали соседки над каждой вещью. — Откуда он это достал?

— Не знаешь, что ли? У них, у летчиков, свой закрытый коператив. Там все есть... галоши даже глубокие!

— Им щиколату по десять кил на месяц дают!

— Ну, девка, не будь дурой, пиши на него! Теперь и фамилия известная. Пиши!..

Муся не была ни алчной шантажисткой, ни лгуньей. Она была только Мусей, одной из миллионов Мусь, Дусь, Тамочек, у которых отнято их маленькое бабье счастье. Муся написала прокурору.

**
*

Алиментные дела разбираются вне очереди, и суд не заставил себя ждать. В зале сидели все мамки, ле-

жавшие вместе с Мусей. Было также много служащих местного аэродрома.

— Обвиняемый, ваше имя, отчество и фамилия?
— начал опрос судья.

— Валентина Семеновна Вереса, — отчеканивая окончания, ответил подсудимый.

В воцарившемся молчании прозвучал неудержимый смех какого-то из молодых летчиков.

— Объявляю перерыв! — суд удалился на совещание.

Разбирательство дела об отце женского пола после перерыва не возобновлялось. Но был другой суд, негласный. Районная тройка НКВД судила Мусю за введение в заблуждение советского правосудия. Муся переселилась куда-то на север...

О втором суде не сообщалось, а о первом был дан фельетон в областной северо-кавказской газете в назидание профессиональным алиментщицам, завалившим суды своими жалобами. Этот фельетон сохранился в памяти автора настоящих строк. Чего в них больше — комизма или трагедии женщин нашего отечества, пусть решит сам читатель.

”БЫТОВОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ“

—Ид-а-а-а... Это проблема!— протянул, уперев глаза в висящий на стене портрет Буденного курсанта военной академии Коля Куркин. —Проблема особого свойства. А только?...— полушопотом спросил он бравого маршала. Но тот промолчал, и Коля снова углубился в чтение письма.

Оно было длинным. Целых четыре листа ученической тетрадки были исписаны мелким, как бисер, но четким старушечьим почерком.

—Старалась старушка... Каждую букву выводила,— подумал Коля и живо представил себе ее, бабушку Лизу, собственно говоря, не настоящую бабушку, а только сестру настоящей, но все же единственную родственницу, которую знал за двадцать лет своей жизни воспитанный ею Коля. Он снова поднял глаза к портрету маршала, но вместо него увидел окно с кактусом и геранью, у окна — застланный рюшевой скатертью столик, на нем — старинные очки с треснувшим стеклом и чернильницу-мопса с отбитым ухом. Это он, Коля, отбил...

”Ты пишешь, —читал курсант,— что у вас в закрытом распределителе все есть. Вот я и прошу тебя купить там то, что обозначено в списке. Все это очень нужное. Для Марьи Степановны, домкомши нашей, детское особенно. У нас детского и в помине нет, а она человек влиятельный. Через нее только меня и не уплотняют. Деньги она дала, и я их шлю переводом. Уважь ее меня ради. А в конце для Оленьки. Она про тебя всегда спрашивает, помнит...”

—Это мы и без вас, бабушка, знаем,— буркнул Коля, взглянув на висевшее под маршалом маленькое "ментальное" фото девушки в лихо задранном сбоку берете.

"...ей очень хочется духов "Кремль" и чулок телесного цвета хоть пару. Я набрала от себя восемь рублей, а ты добавь от стипендии, чего нехватит. Не пожалей ей к именинам (одиннадцатого июля), как раз придет. Вот будет рада!"

Коля отложил письмо, вздохнул и взял в руки приложенный к нему список.

—Бумазейные пеленки... Ну, это можно,— читал он вслух, —кофточку детскую вязаную... Уже хуже. Чепчики розовенькие, — чорт бы их побрал! Сосочку с колечком — ну, это извиняюсь! Сами покупайте! Может вам еще горшочек? Для Оли "Кремль", чулки, пилочку ногтевую. Это можно. А насчет чепчиков с сосочкой...

О судьбе этих компрометирующих курсанта академии предметов Коля не договорил, а подошел к открытому окну, выходящему в сад академического общежития. Его комната была во втором этаже огромного здания, бывшего когда-то институтом благородных девиц, и в нее вливался густой аромат поднимавшейся снизу из куртин цветущей сирени.

—Совсем, как море,— думал Коля, смотря вниз, —синие волны переливаются с лиловыми, а на них белая пена. Прежде тут институтки гуляли и мечтали о принцах.— Глаза курсанта почему-то перешли от сирени к маленькому портрету под усатым маршалом.—А принцы не являлись... И вместо них... Пеленки и соски, чорт им в глотку!— неожиданно решил курсант и высунулся в окно, втягивая всей силой широкой груди вздымающуюся снизу душистую волну.—А впрочем, рассуждая логически, почему принцы и пеленки несовместимы? Родят же принцессы детей? И не в порфиры их заворачивают?

Для решения этого сложного церемониального

вопроса глаза Коли снова вернулись к стене, но спросили не маршала, а маленький портретик.

—Конечно, не в порфиры,— ответил тот, —а именно в пеленки, и чепчики на них надевают. Розовенькие . . . и с бантиками . . . и соски с колечками им в рот суют . . .

—Розовенькие . . .,— презрительно протянул Коля, снова пробежав глазами список, —Чорт с ними! Пусть розовенькие! В отделе комсостава продавец свой в доску, найдет и розовенькие . . . Постараюсь уж для бабки. Домкомша в самом деле человек нужный.

Но вместо бабки перед его глазами отчетливо вырисовалась та, что смотрела из-под Буденного, только не серая, как на фото, а красочная, живая, и в руках у нее был . . . розовенький чепчик с бантиком.

—Письмо получил? От сюжета?— раздалось сзади Коли. —Вот и поймал тебя! Так зачитался, что не слышал, как я вошел.

—От бабки,— огрызнулся Коля, стараясь незаметно засунуть список в карман гимнастерки. Но этот маневр не удался.

—Прячешь? Коли от бабки, так не стал бы прятать от друга.

Вошедший был сожитель Коли по комнате Петр Матюшов, крепко сбитый, чернявый парень с низким лбом и тянувшей всю голову книзу тяжелой челюстью.

—Сюжетец твой, конечно, не вредный,— кивнул на портрет Матюшов, —один минус— пространство. Недоступная для эффективного обстрела дистанция. Я бы на твоём месте перенес огонь на близлежащие цели. Дело будет вернее. А там и без тебя наводчики найдутся. Достигнут попадания, будь уверочки. Кстати, о Верочке моей . . .— чмокнул губами Матюшов. —Бери сегодня увольнительную и топаем в киношку. Верочка с подружкой придет. Такой рафинад, что сам бы ел, ну, для кореша уж не жалко. Уступлю. Топаем, а?

—Пошел к чорту,— скомкал Коля бибкино письмо, —баллистику буду долбить. У меня по ней отставание.

- Дело хозяйское,— обиженно хмыкнул Матюшов,

—принудительного ассортимента не навязываем. Но в резолютивном порядке выражаемся конкретно: дурень!

Курсант Матюшов приступил к сложной операции бритья и переодевания, а курсант Куркин демонстративно уселся у окна уперев глаза в страницу учебника. Но иксы и игреки, начальные и предельные скорости почему-то не перемещались с этих страниц в мозг Коли, не отпечатывались в нем. Этому мешала какая-то непонятная преграда, парализующая их зона. Может быть душистые волны, вздымавшиеся снизу, из сада, а может быть узор каких-то букв, но не бабушкиного бисерного почерка, а другого. Эти буквы сбегались откуда-то, становились в шеренги и получалось: "Колюшка, милый" ...

—Ни черта не выйдет!

Матюшов огладил свежесбритые щеки, одернул гимнастерку, еще раз обмахнул вычищенные на все сто сапоги, вытянулся и четким строевым шагом вышел из комнаты. Коля захлопнул книгу, потянулся, стал снова к окну и запел:

—Выходила на берег Катюша ...

Потом вдруг перескочил на конец песни:

—А любовь Катюша сбережет ...

И совсем неожиданно закончил:

—Чорт с вами! И чепчики куплю!— помолчал, обменялся понимающим взглядом с усатым маршалом. — И соску!— сообщил он ему интимно. — Можно потихоньку ее спросить. Навру что-нибудь, скажу: для подарка племяннице. Точка,— подошел к своему шкапчику и проверил замок.

Тайны бывают не только у людей, но и у вещей. Индивидуальные платяные шкапчики курсантов тоже имеют свои тайны. В одном хранится запретная в стенах академии бутылка коньяку, в другом — сшитые у вольного портного недозволенной ширины галифе. Колин шкапчик не имел своей тайны и поэтому никогда не запирался. Его ключ невылазно торчал в своем гнезде. Теперь, после получения письма и интимной беседы с маршалом, этот ключ переселился в карман Коли и утратил свою свободу, став прикованным цепочкой

к пуговице брюк. Вероятно, он очень скучал там, так как кроме сурового казенного носового платка, поговорить было не с кем. Даже пачки "Дюбек-Марсалы" туда не забегали — Коля не курил. Зато висевшим в шкапу гимнастеркам стало много веселее. Прежде они могли любоваться только некрашеной фанерой стенок и днища шкапчика, а теперь каждый день новости: сначала под ними зарозовела стопка перевязанных ленточкой пеленок, потом на их радостном, весеннем лужке зацвели васильками бантики чепчиков, лиловыми колокольчиками крохотные чулочки, а рядом с ними пестрой Иван-да-Марьей вспыхнула из настоящей (!!)-шерсти кофточка и от всего этого многоцветия до привыкших лишь к казарменным запахам форменных брюк (спускавшихся ниже) донеслось какое-то непонятное, чуть заметное сладостное дыхание... А в самом углу стал маленький, завернутый в полосатую бумажку таинственный пакетик. Что он таил в себе, знали только Коля и маршал. Дверь шкапа была заперта, когда Коля, придя из распределителя, замкнул и входную, вынул этот пакетик из кармана, развернул его, снял с коробки крышку с картинкой, изображавшей до невероятия краснощекого младенца, и начал вынимать из ватки вещь за вещью.

—С колечком! Во! Красота!— показал он маршалу какой-то необычайный и для академии и для предшествовавшего ей в этих стенах девичьего института предмет. —Первый сорт! Экстра!

Маршал как-будто удивился.

—А это что? Уточка. Как живая! Не целлулоза, а настоящий каучук. Там разве такие есть? Их и в Москве-то не найдешь!

Со столь явной очевидностью маршал согласился без спора.

—И погремок! Слышал такой?— помахал Коля не имеющимся в оркестре академии инструментом. —Весь прибор купил.

Раскатившийся мелким горошком звук явно понравился и курсанту и маршалу.

Но ключ ничего этого не видал. Он томился в

кармане и, вероятно, от скуки в тот же вечер сбежал оттуда. Как это случилось, Коля потом и сам понять не мог. Всегда аккуратный и точный, уходя в тот день в отпуск и переодеваясь, он отстегнул ключ от строевых брюк, положил его на столик... и не пристегнул к выходным.

—Промашка!

Но сначала казалось, что она прошла благополучно. Вернувшись из отпуска, Коля увидел ключ лежащим попрежнему на столе, а своего сожителя Матюшова лежащим уже в постели.

—Значит, не полюбопытствовал,— решил про себя Коля, —я зря на него подумал. Хотя характер его всем известен. Ведьмина он продал, когда тот анекдот про Сталина рассказал. Ну, ладно, сошло!—“ окончательно решил Коля, стягивая второй сапог.

—Сынок или дочка?— прозвучал вдруг непонятный для него вопрос, пропетый утрированно-сладким голоском. —С чем прикажете поздравить?

—Ты про что?

—Да про то... Сам знаешь, тихоня.

—Что?

—То... про что в родилке сообщают. Хорош друг — ни словечка!

—Ты, что, обалдел?

—Прежде балдел, а теперь поумнел. Ты, браток, жук хороший. Этакую невинность на себя напускал... Ну, так как же, с сынком или с дочкой?

—Ничего не понимаю.

—Брось петрушку строить. Иди лучше в сознание. С сынком, значит?— залился тонким смехом Матюшов. —А мировой из тебя папаша получится! Заботливый!

В мозгу Коли закрутился какой-то сумбурный фильм. Ключик... портретик... продавец в распределителе, завертывавший ему коробку...

—С бантиком!— заливался смехом Матюшов. —Розовенький?

—Гад! Сексот! По чужим шкапам шарить!

—И сосочка!

Коля, как был без сапог, подбежал к кровати Ма-

тюшова, схватил его за ворот, поднял, поставил на ноги . . .

До бледневших в мареве майской ночи сиреневых кустов донесся звук двух глухих ударов.

На другой день Колю вызвали с занятий и дежурный провел его к всегда закрытой двери рядом с кабинетом начальника академии. Дверь вглотнула курсанта и через полчаса выплюнула его вновь, несущим подмышкой узел, завернутый в розовую бумагею. Коля как-то странно, не по-военному, волочил ноги и недопустимо для курсанта сутулился. Он шел, ничего не видя, и не заметил даже, как из узла что-то выпало и, погромыхая мелким горошком, покатилося по полу.

А к концу занятий на висящей у той же двери большой черной доске был приколот листок и на нем стояло отстуканное бездушной, сухо трещавшей машинкой:

”Курсанту Куркину Николаю за вещественно-доказанное проявление бытового разложения строгий выговор с предупреждением.“

Коля читал это вечером, когда корридор был пуст. Наступил на что-то ногой. Хрустнуло. Коля нагнулся, поднял маленький, погромыхающий мелким горошком шарик, быстро спрятал его в карман и вдруг, выпрямившись, как на параде, бросил в упор доске:

—Сволочь!

СУСАЛЬНЫЙ АНГЕЛ

— Знаешь, Бобби, что скоро Рождество!..

Когда жена называет меня этим, давно канувшим в Лету, полузабытым мною самим именем, я уже догадываюсь, что готовится какая-то диверсия. Нужно быть настороже и поэтому отвечаю в дружеско-нейтральном тоне.

— Что ж, Рождество. Верно. Оно каждый год в это время случается.

— На Рождество устраивают елки, — развиваются дальше действия противника, — теперь они разрешены... Ты читал в газетах?

Цель атаки теперь ясна, и я стягиваю свои силы к угрожающему пункту:

— Устраивают те, у кого дети есть. Понятно! Но причем тут мы с тобой? Детей нет, зачем же елка?

— Не для детей, а для нас самих, для больших... соберемся — вспомним...

— Ну, это совсем лишнее, — строго отвечаю я, — какие там воспоминания? К чему? Кроме того, — расходы!

— Об этом не беспокойся. Это все — мое дело! От тебя — только согласие!

Если противник реализует свои строго секретные, неизвестные мне фонды, значит дело серьезное. Чувствую, что мне придется сдаться, но все же еще протестую, рассчитывая хоть на почетную капитуляцию:

—хлопот-то сколько! Где, кроме того? В одной комнате? И поставить-то ее негде!

— Тоже не твое дело! Тебе — никаких хлопот! Зато представь: соберутся свои, только свои, самые

близкие... Загорятся свечечки, заблестит снежок на зеленых ветках... Хлопушки, золотые орешки, и в каждом из них — заманчивая, чудесная тайна... и ты снова станешь маленьким Бобби, а я — застенчивой девочкой с голубым бантом на золотистых кудряшках... Хоть на час, на один только час, но вырвемся из этой мышиной суетни, чада примусов, ругани в очередях, грошевых расчетов и непрерывного, нудного страха! Хоть на час! На полчаса! Ну, Бобби?..

Удар был направлен верно. В полусвете моей памяти, заваленной нагроможденными друг на друга "планами", "показателями", "конъюнктурами", промелькнул смутный облик какого-то мальчика в белой матроске с синим откидным воротником, подкравшегося на цыпочках к замочной скважине запертой двери... Конечно, это был не я, замызганный, истертый, трижды перелицованный советский "спец", а кто-то другой... Прозвучал мотив давно позабытой песенки:

"В лесу родилась елочка..."

Кто это играет, кто поет ее? Мама? Сестра? Да, кажется, они... Ведь были же они тогда? Были... были... были...

— Ну, согласен. На вашу ответственность, как говорится. Но ставлю и свои твердые условия выполнения плана: во-первых, только свои, никого из сомнительных.

— Конечно! Как же иначе!

— Во-вторых, водка не менее, как в полном ассортименте — чистейшая, лимонная и перцовка, и, в третьих, самое главное... и я сделал паузу...

— Ну!..

— Настоящие малороссийские колбасы! Какое же без них Рождество? И Гоголь такого не признавал! — поставил я трудные, почти невыполнимые условия, не надеясь и сам на их успех.

— Достанем! Сделаем! — с подлинным пафосом строительства воскликнула охваченная самоотверженным энтузиазмом жена, — я тетю Клодю настрою, а она, ты знаешь, все может, коли возьметса.

Это звучало убедительно. Тетя Клодя действительно обладала необыкновенной способностью творить чудеса в области доставаний, добываний, отысканий всего скрытого от взоров обычных граждан страны социалистического изобилия. Могуществу ее старушечьего кленового посошка, открывающего самые недоступные двери, позавидовала бы и сама упраздненная ныне фея из сказок. Но о тете потом, а пока мы с женой углубляемся в сложную работу по составлению списка возможных кандидатов.

— Конечно, обоих Морозовых и их чадушку, — выставляю я своего кандидата. Профессор Морозов руководит здесь научно-исследовательским институтом, ведет сложные опыты по акклиматизации каучуковых растений и считается светилом первой величины, а для меня он просто — Васька, с которым мы вместе от Шаляпина в "Дон Кихоте" с ума сходили и "Татьяну" справляли в годы оны. Рад он будет старое вспомнить. Сын его, правда, комсомолец, но, конечно, это только "защитный цвет" . . . Коммунизмом в такой семье заболеть нельзя. И с женой его я еще на гимназических балах танцевал. Потом растолкнула нас жизнь и снова свела в этом тихом южном городке.

— Нюрочка с мужем и с дочкой, — вставляет жена, — записывай! — Жена местная уроженка, здесь и училась. Подруг и родни, хоть отбавляй. Поэтому и я торопился продвинуть своего ставленника — Семищева, теперь бухгалтера, а прежде тонягу-гусара. Вот с ним-то уже выпьем с толком и пониманием дела и "Журавля" споем . . . с многоточием . . .

— Список закончен. Двенадцать человек, тетя Клодя — тринадцатая. Плохая, говорят, примета, ну, да это раньше было, теперь все приметы отменены! Кроме того, считая с нами — пятнадцать!

— Пятнадцать! — я задумываюсь.

— Говорю тебе: ни о чем не беспокойся, — улавливает мои сомнения жена, — все сделаем очень дешево. Я уже придумала: на закуску . . .

— Я не о том . . . Но понимаешь, пятнадцать! Ну, будь бы еще пять, шесть, еще так. Но пятнадцать! Ведь это — уже собрание! Заговорят, доложат, кому следует — и готово! Мало ли народа в Колыму транспортируется . . .

— Но тебя же все знают, как вполне лояльного!

— А доктора Корнева не знали? Всех чекистов лечил! Лучший терапевт в округе! А где он теперь?

Жена тоже задумалась на минуту и вновь вспыхивает радостью:

— Придумала! Ты сам заранее заяви!

— Как заявить? На себя?

— А что ж такого? Поди и скажи: так и так, праздную, мол, ну, там предлог какой-нибудь выдумай . . . прибавку дали, скажи . . .

— Справятся. Не годится.

— Ну, другое. Наследство, скажи, получил.

— Какие теперь, к чертям, наследства!

— Придумала! Скажи, друзья комнату для нас в Москве нашли, а о том, что тебя нарком к себе берет и лишь за жилплощадью дело, все давно знают. Вполне правдоподобно.

— А потом?

— А потом комнату перехватят. Только и всего. Со всеми так бывает . . .

Этот проект был вполне реален. О приглашении меня в наркомат знали все сослуживцы. Знали, конечно, и где следует. Без справок и проверок не обошлось.

Вечером я тщательно обдумал конъюнктуру и решил начать с милиции: там меня знали, даже "блат" кое-какой с начальником был. Вошел к нему без доклада и по-товарищески изложил дело.

— Нас это не касается, — захохотало начальство, — на своей жилплощади пейте, гуляйте, от этого доход государству! Проявляйте энтузиазм! "Жить стало веселей" — сказал тов. Сталин. А, вот, на улицу выходите уже без энтузиазма. Проявите хоть на 41 градус — за-

берем. И за нарушение порядка статью дадим — стоит "годешник"!

Веселый был человек товарищ начальник милиции! Все с хохотом изложил, но вдруг лицо его омрачилось:

—Пятнадцать, говоришь? Многовато... мне-то, конечно, без разницы, хоть двадцать, но там-то что подумают? Всякое возможно... Советую, как другу: сходи к уполномоченному, в тройку, изложи, освети, осведоми в общем и целом... Как другу, говорю. Тебе же спокойней, а он — парень свой, сам выпить не дурак...

Совет был разумен, и я зашагал к заветному, лучшему в городе дому, над входом в который красовались четыре всемирно известные буквы: Н.К.В.Д.

Тут попасть на прием было много сложнее. Сначала опросили через окошечко, вроде как у кассира. Дали заполнить бланк. Забрали паспорт. Подождал. Вызвали к столику и снова опросили. Отобрали портфель и повели по корридору...

Признаюсь, в эти минуты я горько раскаивался в том, что легкомысленно согласился на детский каприз жены. Какая там елка, хлопушки, орешки! Хлопнут тебя, раба Божьего, здесь лет на пять эти самые елки заготовлять в местах отдаленных, тогда будет на орехи... позолоченные...

Но делать нечего. Назад не повернешь — хуже будет. Запасаюсь большевистской стойкостью и иду впереди конвоира, как полагается.

—Здесь! Налево! Стукните в дверь!

Стукнул. Вошел. Все знакомое. Кто в этих кабинетах не побывал? Все они на один шаблон. Стол фронтом к входу, перед ним — стул, над ним — "мудрейший", сбоку — Ягода, тогда еще не расстрелянный...

—Садитесь. Что можете сообщить?

Я излагаю свое дело под прощупывающим меня "гипнотизирующим" взглядом немигающих глаз. Кончил. Молчание. Страж бдительности пролетариата на этот раз, видимо, озадачен. Он ищет какого-то скрытого смысла моей "информации" и находит его...

—Чего же вы, собственно, хотите? Ваша частная жизнь нас не интересует.

Знаем мы, как не интересует. Все домкомы вам еженедельные сводки о своих жильцах подают! Но разыгрываю роль вконец запуганного интеллигента. Впрочем, тут и "играть" нечего: так ведь оно и есть...

—Зная необходимость бдительности при данной международной обстановке... — лепечу я.

—Бдительность необходима, конечно, но здесь — ваша частная жизнь... Пятнадцать человек, вы говорите. Да... ну, скажем так: к вам придут на вечер еще двое, очень милые люди... Они не нарушат вашего веселья, наоборот, выпьют, споют, потанцуют с молодежью. Прекрасные молодые люди...

—Да, конечно, — пытался протестовать я, — но все-таки, ведь соберутся только близкие, друзья детства, родственники... так сказать, семейное торжество...

—Ну что ж, рекомендуюте и их как приезжих дальних родственников, а, впрочем, кто у вас будет?

Я услужливо вытягиваю заготовленный список:

—Пожалуйста, вот...

Гипнотизирующий взгляд переносится на мой манускрипт. Покрытый рыжеватой щетиной указательный палец левой руки медленно ползет сверху вниз по заботливо расставленным женой номеркам... Правая рука свободно брошена на стол. У меня же, вследствие тесного общения по служебным делам с кассирами, привычка выработалась — смотреть при разговоре на руки партнера. И тут смотрю. Вот указательный палец левой зацепился за жениного дядю учителя:

—Стороженко П. Н.? Это какой? Учитель или железнодорожник?

—Учитель, — отзываюсь я, — 3-ей неполной... лояльнейший человек!

—Ааа... — вижу палец дальше вниз пополз, а на правой — мизинец к ладони загнулся...

—Профессор Морозов? Известный? Он друг вам или родственник?

На правой — пригнулся безымянный...

— Друг с университетской скамьи . . . Человек большого масштаба, много раз премирован.

Дальше, вниз . . . Задержка на Семищеве. Ну, пропало дело: значит, они на подозрении . . . Контра . . .

— Семищев из Плодвинсоюза? Здоровый такой крепкий?

— Он самый.

От характеристики я уже отказываюсь: похвалишь контрика, а потом и тебе статью пришьют. Молчание — золото.

На правой руке загнулся третий, средний, палец . . . Так и есть: влопался с устройством елки. Три контры в списке. Ясный заговор! Тут уж не открутишься: десятка — минимум, а то и вышка. Вот влип . . . На лбу проступает холодный пот . . .

Проверка списка окончена. "Гипнотизирующий" взгляд снова устремлен на меня, но, странное дело, он стал мягче, легче . . .

— Что ж, веселитесь в своем тесном кругу . . . имена известные, не возражаем . . . Пока. Счастливо!

Даже руку на прощание подал! Вот так фунт! И без "приглашенных" обошлось. Словно в бане выпарился. Но в чем же дело? Почему? Откуда это доверие? Господи, Твоя воля! Неужели и они? Васька! С университетской скамьи! Друг . . . и он? Вот тебе и Шаляпин в "Дон Кихоте" . . . а я то, как себе, ему верил . . . Анекдоты про Сталина рассказывал . . . за одно это — не менее трех . . . хотя все же не донес до сих пор, помнит московскую "Татьяну". Теперь — конечно: бдительность, бдительность, бдительность! Самая распролетарская! На 120%.

Все это пронеслось в моем мозгу, когда я возвращался по корридору и получал отобранный портфель. Но как же сказать жене? Ведь тогда у нее, бедняги, вся радость пропадет . . . Ведь дядя, родной дядя — сексот! Лучше смолчу. Как-нибудь, потом, осторожно, намеками . . . а теперь — пусть вздохнет хоть на час! Авось, обойдется.

— План утвержден полностью и одобрен в самых

высших инстанциях! — торжественно возвестил я с порога, — к выполнению приступить без отлагательств! И помни: водка трех сортов без ограничений и малороссийские колбасы в обязательном порядке!

— Не забуду! Бегу к тете Клоде! — только и сказала жена и тотчас исчезла . . .

Тетя Клодя — человек в своем роде замечательный. Сменялись режимы, город занимали немцы, белые, красные, махновцы, ангеловцы, а тетя Клодя бессленно сидела в своей высшей начальной школе и неуклонно внедряла в русые, черные, рыжие головы своих учеников не подлежащие законам диалектики незыблемые истины пифагоровой таблицы.

— Дважды два — четыре. Ты, Петрушка, опять бабуешь! Смотри, отцу скажу! Он тебя . . .

И сколько Петрушек, Ванек, Сенек прошло через ее классы за полных 47 учительских лет! Иные в люди вышли, иные так и застряли на "десятью десять — сто". Теперь и в Нью-Йорке и в Буэнос-Айресе можно встретить бывших учеников Клавдии Изотиковны (имя такое, что трудно запомнить, а, запомнив, забыть — невозможно!) В родном же городе где только не было ее учеников! Заходит тетя Клодя в пустой по обычаю советский магазин, стукнет посошком у прилавка:

— Сережа!

А Сереже — за прилавком — тоже шестьдесят уже стукнуло!

— Это первого моего выпуска ученик!

— Что прикажете, Клавдия Изотиковна?

Пошепчутся. Сережа исчезнет на пару минут, а, вернувшись, незаметно сунет тете Клоде пакетик и моргнет кассиру: — получай, это — "своя". Даже в строго замкнутый от масс закрытый распределитель Н.К.В.Д., где всего в изобилии, и туда проникала тетя Клодя. Так и жила: достанет для кого-нибудь — угостят старушку. Пенсии же — 45 рублей: за комнату и на хлеб. Вот и все . . .

Вернулись обе лишь вечером, когда по "ответственной" сети уже дали ток. Безответственным гражда-

нам его не полагалось вследствие экономии в полностью электрифицированной стране, где даже в самоедских чумах, если верить журналу "СССР на стройке", висят "лампочки Ильича". Но я был "ответственным", поэтому мог вдоволь любоваться и принесенными сокровищами, и радостным, помолодевшим, словно изнутри освещенным лицом жены. Давно не видал я ее такою.

—Ты посмотри только, рыбки! Ну, совсем такие же, как раньше были! И слоны, и зайчики! Хотела только на 50 рублей взять, а на все сто раскошелилась... Не могу отойти от прилавка... а вот шары, там — снег в пакетике. Ну, все, все, как прежде было.

—Бантик-то голубенький не забудь себе нацепить... как раньше было...

—И что ж? Обязательно приколю! Не буду я в этот вечер советской домохозяйкой, буду самой собой... как прежде!

—А колбасы?— деловито осведомился я.

—Тетя уже нашла: какой-то ее ученик на Гулиевской мельнице поросенка обметками выкормил: обещал дать кишек и прочего. Мы и там побывали. Только вот свечек нигде нет. Не хватило жиров у советов! Не с чего, видно, им беситься будет. Опять тетя выручила: Петр Степанович ей воску обещал, сами наделаем!

—Позвольте, позвольте, гражданки, — увлекся и я, —а самое главное вы забыли! На верх что? Где звезда?

—Нет уж. Ну ее, и так надоела! Не будет звезды!

—Как? Нельзя же без завершения!

—Не суйся! У нас свой план. Тоже тете ручку поцелуй. Она обещала такое!... но это — секрет. Только на елке увидишь.

—Тоже "прежнее"?

—Да еще какое! Помалкивай! И еще что-то будет...

Опять легли поздно. Но даже ночью, когда я, по скверной привычке, закуривал, видел при свете спички на губах жены счастливую улыбку, какой давно уже не замечал я...

...И вот, день, вернее, вечер настал... Как пре-

образилась наша "жилплощадь". Кипы моих желтокоричневых папок куда-то исчезли, и стало разом просторнее. На столе сияла снежной белизной какая-то не промененная на масло скатерть; появились, хоть и разнокалиберные, но все же рюмки...

— Не из чашек же вам хлебать... по-советски!

— Молодец, жена! Водка рюмочку любит. Это верно!

По середине стола, в ведре, обернутом зеленой бумагой, красовалась она, увешанная драгоценностями, как идол Вишну в дэлийском святилище, она, вышедшая из-под запрета по неисчерпаемой милости "отца народов" — рождественская, виноват, теперь "новогодняя" елка.

— Хороша? — ликовала жена, — скоро уж гости начнут собираться. Теперь — можно! Давайте его, тетя Клодя!

На ее подернутых ранней сединой волосах блистал лазурью итальянского буржуазного неба огромный голубой бант, а тетя Клодя поднимала ввысь своей старческой рукою распростершего помятые белые крылья... сусального ангела. Обе сияли.

— От последней своей школьной елки сохранила! Настоящий, старорежимный, царского времени...

... Лучше б меня обухом по лбухватило или грузовик переехал бы! Каково положение? С одной стороны — детская радость жены, с другой — три определенных сексота в качестве гостей, а между ними вот этот далеко не восстановленный в своих рождественских правах сусальный ангел, да еще царского времени! Из такой ситуации никакая диалектика не вызовет.

Я — не Тригве Ли и ООНовских разговоров вести не умею. Пришлось итти, как говорят, "в сознание" даже без соответствующих инъекций.

— Понимаешь, милая... ангел абсолютно не приемлем! Пойми, среди гостей есть ненадежные. Даже более того — сексоты. Меня предупредили... из верных источников...

— Кто?

Я назвал своих друзей, но об ее дяде все-таки промолчал.

Две больших, круглых слезы выкатились из ее глаз.

—Проклятые! И сюда влезли! Ну, погоди ж ты! Ничего не будет! Выноси елку!— Лазурный бант полетел на пол...

—Но пойми! Успокойся! Ведь сейчас гости придут... Скандал... мое положение.

С минуту длилось молчание. Я видел, как слезы, наполнявшие только что лучистые глаза жены, ушли куда-то вглубь, губы сжались...

—Ладно. Пусть елка остается! Уберите бант, тетя. Все будет, как следует, но...

Я знаю женино "но", и в таких случаях не дискусирую. Кроме того в дверь уже кто-то стучался. Но елка без завершения! Нет, это невозможно, это не умещалось в моем логически-плановом мозгу. К тому же могут заметить отсутствие традиционной звезды, криво истолковать, обвинить в саботаже...

Необходимо хоть чем-нибудь заблокировать зияющий прорыв. Я схватываю первый попавшийся вызолоченный картонаж, разрываю его низ и насаживаю на торчащий верх елки... И было во-время: гости уже входили.

Дальше все шло, как по маслу: жена была мила и любезна, тетка — хлопотлива и суетлива, гости любовались елочкой, хвалили ее убранство. Профессор — лауреат милостиво осмотрел ее сверху до низу и даже заинтересовался возглавлением.

—Что это там у тебя наверху?— спросил он, надевая очки, — кажется, летчик или кто-то с флагом?

Все взглянули на верх... Там, уродливо раскорячив кривые ноги, взмахивала картонной метлой... кривляющаяся обезьяна! Я замер...

—А, предок человечества! не лишено идеи — снисходительно улыбнулся профессор, — даже остроумно и современно. Наш естественный предок с метлой... так сказать, отметающий предрассудки, насильственно привитые древнему обычаю. Вполне выдержано идео-

логически . . . заметь и рекомендуй у себя,— бросил он сыну-комсомольцу.

—И как на предисполкома Сусллова похож!— воскликнула экспансивная Нюрочка, —в точности он. Видно, в предка пошел . . .

Это, пожалуй, было и не совсем тактично, но идеологически правильно. Мы лояльно промолчали . . .

Безусловно я родился в рубашке. Удивительно, что меня об этом не информировали. Наверное, в суете акушерка рубашку сперла . . . это бывает.

Потом ужинали и пили водку одного сорта, и напрасно я ждал появления дымящихся колбас. Мои красноречивые взгляды и даже дягилевский балет бровей не производили на жену никакого впечатления. Кажалось, она их не замечала, и на ее губах блуждала загадочная улыбка . . .

Все прошло, как по штату положено. После ужина завели разок граммофон, комсомолец протанцевал с Нюрочкой румбу, и быстро разошлись.

Когда я, заперев со вздохом облегчения дверь за последним гостем, оглянулся, то застыл в немом изумлении.

Жена . . . нет, не она, а торжествующая победу амазонка стояла на стуле, потрясая раскоряченной обезьяной . . . В ее волосах снова сиял лазурный бант.

—К чорту комсомольского предка! —кричала она, —в мусор, в Исполком, к Суслову! Пусть любитсЯ своим прадедом! Мои прадеды Париж с Платовым брали! Балканы переходили. А их — на четверинках бегали! Правильна ваша идеологическая диалектика! Были вы обезьянами, ими и остались! Несите, тетя, ангела! настоящего, старорежимного, царского! Колбасы давайте и "то", секретное . . . Теперь мы одни! С Рождеством Христовым, господа! А не обезьяньи потомки!

Через минутv мы, втроем, сидели у расчищенного конца стола. Настоящие малороссийские колбасы скворчали и пофыркивали на сковороде . . . Им втопило разлитое по стаканам искристое вино. Да, да не сомневайтесь, настоящее "Абрау Дюрсо", столь редкостное в Сесесерии.

Вряд ли Николаю Васильевичу Гоголю приходилось запивать янтарный жир сорочинских колбас с чесноком шампанским, но и вряд ли у него было на каком-либо рождественском ужине так светло и радостно на душе, как у нас в тот час.

Потрескивали елочные свечи... С вершины смотрел, осеняя нас белыми крыльями, сусальный рождественский ангел... простой, бесхитростный, русский и бесконечно дорогой... нас было трое, только трое...

Нет. Между нами был и Незримый, о рождении которого возвестил в Святую ночь Ангел...

РОБИНЗОН КРУЗОВ.

—Вы это видите? Вы можете это себе просчитать? — захлопнул увесистую папку всемогущий замзав. — Здесь одни только названия!.. И скажите мне по чистому сердцу, почему они все хотят писать только историческое? И где я возьму бумаги сверх плана?

Писатель растер в малахитовой пепельнице недокуренную папиросу и поднялся со стула. Полный провал. Ясно.

—Нет, нет! Я не говорю вам: нет. Но давайте мне в план! Извольте, вот вам детская литература. И что в ней? Шесть названий, всего на десять листов... Это все равно, что ничего!

—Но я никогда не писал для детей.

—Ну и что? А Катаев писал? Алексей Толстой писал? Но они взяли себе перо и написали классическую детскую литературу. У вас есть перо? У вас есть талант? Давайте мне тему и... получайте аванс и творческую командировку, куда вы хотите...

Аудиенция была окончена. В широком коридоре бывшего Джамгаровского пассажа, а ныне управления Госиздата, писатель был тотчас же окружен прочими, ожидающими очереди у заветной двери.

"Какая смесь одежд и лиц", воскликнул бы поэт времен минувших. На стоящем перед дверью деревянном диване, в гармоничном контрасте сочетались основательно потертый престарелый литератор из "приявших" и нагруженный пудовым манускриптом своего первого романа курносый комсомолец, и посвященный во все тайны задних дверей репортер "Вечерки" с целым

репертуаром разнообразнейших тем, и только что прибывший в Москву, но уже испуганный ею талант-самородок с единственным рассказом, но дюжиной партийных рекомендаций и отзывов. Изредка бросив секретарше небрежное "к Борису Лазаревичу... лично..." проплывал без доклада и очереди литературный кит, провожаемый завистливым шопотом: "такой-то" (известное имя)! По "персональной" идет: три тысячи с листа...

Репортер мгновенно подлетел к вышедшему.

—Ну? Ключуло?

—Чорта с два! Историческая романтика полностью затоварена: одних "Багратионов" и "Кутузовых" — целый вагон. На пять лет сверх плана! "Прокопа Ляпунова" и того три штуки. Сам видел... В детскую — полный газ, там пусто.

—Взял темку?

—Да что я — Чарская, что ли?

—Дуррак! А еще талантом всесоюзного значения считаешься! Псих малахольный! Духа эпохи не чувствуешь! Отстаешь от темпов! Катаев Гюговского Гавроша на советского Гаврика переоборудовал и полмиллиона на "Парусе" привез! Техника решает все! Хоть лорду Фаунтльрою пионерский галстук подвязывай! Но — сумей! Тебе же и книги в руки: С Чкаловым на остров Врангеля летал, в каракумский автопробег ходил... А он — "я не Чарская"! — плюнул с досады репортер. —Сходи к Диогену, коли у самого шарикоподшипников не хватает!

Совет был разумен. Консультация Диогена не выводила и из более трудных ситуаций. Да и итти недалеко: всего лишь завернуть за угол на Софийку и спуститься по скользким от налипшего снега ступеням в погребок-закусочную, где в эти часы неизменно пребывала широко известная среди московской пишущей братии личность.

Подлинное имя ее и звание знала лишь Лубянка, куда не раз возили Диогена, но, продержав недолго в собачнике, непременно выпускали по особым ходатай-

ствам. Нужный был человек и в своей сфере незаменимый. Его заросшая нечесаной гривой буграстая голова обладала феноменальной способностью давать любую справку по всему напечатанному до 1917 г. вплоть до цитат и семизначных цифр, с указанием источника, а порою даже и страницы. Ходили слухи, что его и в Кремль кое-когда вызывали. Этим только и объяснялось пребывание Диогена вне концлагерной проволоки после не раз повторенной им формулы: "Для мыслящих людей время остановилось в семнадцатом году."

Почтенное имя древнего философа Диоген получил вследствие сходной с ним склонности к особой архитектуре и устройству своего жилища. Зимой, приняв поправку на разницу в климате Афин и Москвы, Диоген проводил в уборной, упраздненной по случаю хронического бездействия канализации, единственная мебель которой была им творчески перемонтирована в обеденный, вернее, закусочный, украшенный неизменным полулитром и надкусанной селедкой, стол. Некоторое неудобство этого апартаментов состояло в том, что на его выщербленном изразцовом полу нельзя было вытянуться во всю длину, даже ложась по диагонали. Окна тоже не было, но в нем Диоген и не нуждался, так как все зимние дни проводил в уже упомянутой закусочной, за одним и тем же залитым пивной пеной столом.

Но лишь только ручьи с Воробьевых гор смывали грязный снег с москворецкого берега, на котором за Крымским бродом стоял уже третью пятилетку обреченный на слом дом Диогена, как он выкатывал в непосредственное соседство с ближайшей мусорной свалкой подходящую бочку и поселялся в ней до первого снега. В закусочную он тогда не ходил, а принимал клиентов "на дому", не платя фининспектору за свою непредусмотренную революционным законодательством частную практику особого вида.

Происхождение и состояние бочек, в которых обитал Диоген, ежегодно изменялось. Густой дух кислой капусты сменялся острым ароматом селедки, селедка — креозотом, креозот — неразгаданным технически

неграмотными носами, но очень въедливым составом.

—У Диогена побывал,— безошибочно определяли в тот сезон его клиентов во всех редакциях.

Осенью опустевшую бочку перманентно крали на растопку соседние домохозяйки. Иногда в спорных случаях за нее дрались. Милиция этого тихого пригородного района протеста против летней резиденции Диогена не высказывала, видимо, считая его в составе мусорной кучи, приравненным в правах к дырявым ведрам и прочему безнадежному утильсырью.

Говорили о каких-то трех факультетах, оконченных Диогеном, о неудавшейся научной карьере, но знали твердо лишь одно: данная им по памяти справка всегда точна и верна, совет разумен. Гонорар за консультацию возможен и натурой в упаковке Госспирта и деньгами. Размеры его не таксированы: полученные дензнаки Диоген, не считая, совал в карман своего неопределенного цвета пальто, не сменяемого ни зимой, ни летом.

Перед этой-то загадочной личностью, через десять минут по окончании аудиенции у замзава, и стоял писатель вместе с почуявшим запах предстоящего шашлыка репортером. Он не ошибся. Консультация началась именно с заказа трех порций этого явно шовинистического блюда и большого графина "пшеничной".

Две первых стопки были выпиты молча: торопиться Диоген не любил, и лишь налив третью, коротко бросил: "Ну?"

Писатель обстоятельно изложил ситуацию и свои сомнения.

Диоген выпил четвертую, внимательно осмотрел пустую перечницу и произнес, обращаясь к висевшему на стене Микояну:

—Балда! Иди и бери аванс из расчета на тридцать печатных листов по тысяче. Возьмешь меньше — будешь полным ослом.

—Под "Комсомолку Джаваху" мне, что ли, брать,— подпрыгнул на стуле писатель, —или под "Юного ленинца Фаунтльроя"? Тему давай!

— "Советский Робинзон Крузо", — внятно и безразлично сообщил шестой стопке Диоген. — Требуй с листа полторы.

Писатель и репортер молча переглянулись: гениальность всегда проста.

— Все элементы налицо! — подсчитывал через минуту репортер. — Освоение новых земель — раз... Изумительный чердак у Диогена! Пафос строительства — два, стахановский энтузиазм — три, — дармовая халтура, — рабочее изобретательство — четыре. Старик Дефо словно в Детгиз писал!... Приобщение культурно отсталого нацмена Пятницы к социализму — пять... тут, брат, пальцев не хватит. Вся генеральная линия без малейших исправлений! Переправь имена и валяй! Да и переправлять не надо — подставь лишь "в" в Крузо! Вроде Кукурузова будет, самая бедняцкая фамилия... Не тема, а Торгсин!

Выпили по седьмой и по восьмой, а на следующий день в графе срочных заказов Детгиза против имени писателя значилось: "Советский Робинзон" — 30 печ. листов — 1500 рублей. Всего 45.000 рублей. Срок — 6 мес. Творческая командировка за счет издательства...

Писатель подсчитывал у окошечка кассы пачки засаленных червонцев. Болела голова, но медлить было нельзя: репортер мог перехватить гениальный совет Диогена.

А совет был действительно гениален. Писатель поселил чудом спасшегося из лап белобандитов матроса Крузова на один из ненанесенных на карту островов Аральского моря. Есть ведь такие: в 31-м году экспедиция Средазмета нашла целую колонию старообрядцев, потомков укрывшихся там еще при Николае Первом, живших в полной изоляции ото всего мира... Матрос Крузов выстроил себе из открытых им новых строительных материалов жилище, над входом в которое начертал соком иодистых водорослей (тоже богатство): "Ура великому Сталину", приручил чаек и тюленя... В свободное от стахановской работы время он

повторял по памяти все пункты программы ВКП(б) и заветы Ильича, открыл новые месторождения нефти, тщательно возделывал свой приусадебный участок и относил в сухую и проветренную пещеру излишки, подлежащие сдаче государству и страхфонду...

— Вот она, подлинная революционная романтика! — воскликнул, перечитывая написанное, писатель. — Крепкий фитиль вставляю Катаеву!... У него — что? Баррикады из утиля! Хлам! Старье! А у меня — весь пафос строительства! Все шесть исторических пунктов в полном составе!

Когда Крузов начал обучать занесенного к нему каракалпака-рыбака пению "Интернационала" и словам — "под знаменем мудрейшего Сталина на всех парах к победе коммунизма", растроганный писатель даже сам прослезился...

Написать последнюю главу было совсем просто: экспедиция, снаряженная по личному указанию прозорливого, мудрейшего отца народов, открывает остров и грузит на корабль сбереженные Крузовым излишки. Судовой политрук выносит ему благодарность от имени партии и тов. Сталина за открытие нефтеносных источников и премирует вышедшим во время его робинзонады кратким курсом истории ВКП(б). Крузов торжественно клянется не ослаблять темпов открытий и перевыполнить нормы, а обученный "Интернационалу" каракалпак поет его перед микрофоном и подает заявление о вступлении в партию Ленина-Сталина.

Рукопись была закончена в срок, передана в редакционный отдел и через неделю писатель сидел у стола рецензента-редактора.

— Прекрасно, прекрасно, — говорил тот, поглаживая рукой по заглавному листу "Робинзона", — характеры яркие и выпуклы, живость и свежесть языка, тонкость и глубина психологического подхода... Но только, знаете ли, массы отсутствуют... Неудобно как-то! Критика может отметить... Вставьте-ка главки три-четыре с массовками, поправьте кое-что, самый пустяк... Понятно?

Писатель понял, засел за работу и через несколько дней озаренный светом великой мысли Сталина каракалпак привлек на остров сотню своих родичей, организовал образцово-показательный колхоз "Луч солнца Сталина", а в заключительной главе "Интернационал" пелся уже хором и политически грамотный Пятница подавал не личное, а коллективное заявление о приеме в партию.

И снова писатель сидел у того же стола, а редактор поглаживал заглавный лист дополненного массами Робинзона.

— Видите, как много выиграла повесть! Все разом ожило! — восхищался редактор. — Наша сила — в монолитности масс! Это у вас прекрасно и ярко отражено, но . . . руководящее влияние партии — в тени! Неясно, отвлеченно! Конкретнее надо, острее! Это в ваших же интересах . . . Маленькое дополнение, штрихи . . .

. . . Штрихи были внесены: вызванный по постановлению общего собрания островитян-колхозников парт-орг приземлил свой самолет на оборудованном ко дню октябрьской годовщины аэродроме необитаемого ранее острова, где тотчас же была создана низовая ячейка, которая к концу романа выросла в политотдел . . .

— Великолепно, — похваливал редактор, — роль партийного руководства ясна и рельефна. Монолитность и самостоятельность масс! Все в порядке! Вот что значит подлинный советский талант в плане руководящих указаний гениального товарища Сталина! Только кое-где маленькие неувязки: вот, например, неотмеченный на карте остров! К чему он? И местные организации могут заявить справедливый протест — целый остров просмотрели! Где же бдительность? Сделаем так: Крузов выведет колхозников на новые площади, указанные облземуправлением. Пустяки! Поправки лишь в первых главах . . . ну, и в конце немножко . . . Открытие, экспедиция как-то нелогично. Скажем лучше: прибытие специальной контрольно-ревизионной комиссии на предмет обследования передовых колхозов и внедрения стахановских методов труда, соглас-

но личным указаниям всеобъемлющего товарища Сталина. Просто, коротко и ярко! А какая сила образности! Поправки в сущности пустяковые. Да, кстати, изменим и заглавие. Уточним. К чему это "Советский Робинзон"? Конечно, наследство классиков... освоение предшествовавших культур... Но, согласитесь, — не современно! Вне темпов развития. Назовем лучше "Колхозник Крузов", а еще лучше "Стахановец полей Кукурузов"! Предельная насыщенность социалистического романтизма! Так ведь?

В день, когда исправленный и дополненный в плане мудрых указаний великого отца народов "Стахановец Кукурузов" был сдан в набор, его талантливый автор, получив всю сумму гонорара с надбавкой на дополнительные главы, сидел в непосредственной близости к свежей куче мусора против бочки Диогена.

Накрапывал мелкий осенний дождь. Его капли, стекая с писательского лба, скоплялись в седеющих бровях и оттуда струйками сбегали по щекам, мешаясь с мутными, пьяными слезами. В бочке, поджав по-турецки ноги, сидел Диоген. Перед ним, на пробитом ведре — литр и банка селедок в томате.

— Не о себе плачу, пойми, — всхлипывал писатель, — я что?! Винт. Гайка. Шестерня. Зубчик отскочит — и к чорту! Давай другую. Меня — в мусор и все тут! Диалектика жизни. Не о себе, а о нем... о Робинзоне! Двести лет жил, поколения воспитывал... Теперь пожалуйста — в утиль! За не-год-ностью... его, Робинзона... в утиль... на свалку...

На соседнем дворе визгливо выла побитая кем-то собака.

СЛУЧАЙ В ОБЛКУСТПРОМВИНПЛОДОВОЩИ

Петр Петрович был гражданином лояльным, активистом и, можно сказать, стопроцентным беспартийным большевиком. Не только что секретарь профкома, но и сам парторг на общих собраниях его в общем и целом в стандартный образец ставил:

— Вот, — говорит, — кто последовательно и неуклонно генеральную линию трудовой дисциплины в бытовом плане оформляет, так это товарищ Воронин!

— Правильно, — отвечаем, — товарищ Воронин целиком и полностью является маяком нашего Облкустпромвинплодоовощсоюза, отображающим лучезарный свет солнца мирового пролетариата товарища Сталина! Премировать его! Не товарища Сталина, то-есть, а Воронина.

И премируют. Прислушиваются к нашему единогласному народно-демократическому голосу.

— Кто против?

Конечно, таких несознательных нет. Кто сам себе враг?

Достоинно и заслуженно премировали Петра Петровича.

Подойдет, например, ежегодный обязательный срок требования поголовного добровольного займа, профком еще стопроцентную явку на собрание обеспечивает — все выходы запирает во избежание утечки политически недоразвитых, а Петр Петрович уже по совместительству с парторгом резолюцию составляет. После доклада он же первым выступает с конкретным предложением.

—Товарищи,— скажет, —граждане великой соцро-
дины! Гениальный организатор счастья народов, муд-
рейший товарищ Сталин... — пойдет, и пойдет с бес-
предельно нарастающим энтузиазмом, а как дойдет до
передачи взаймы государству денежных излишков в
размере месячной зарплаты, так у многих из нас слезы
умиления вывяжутся.

Сами посудите: к примеру, Вера Петровна, маши-
нистка, окладу ей 135 целковых, значит, на руки за вы-
четами и 90 рублей не придется, а тут еще тринадцать
с полтиной в графу непредвиденных потерь сносить! У
нее же самой три продукта семейного производства на
нуждивении, а основной производитель в Колыме, на
"курорте" ... ну, как ей не умилиться до слез!

Случаются, конечно, и проявления мелкобуржуаз-
ных пережитков. Конюх Чижок, например, хотя и крас-
ный партизан гражданской войны, даже орденосец,
а классовое чувство утратил.

—Я-то,— говорит, —в кредит государству дам, а
оно-то мне, хотя бы за наличный расчет, портки даст?
Вот они — дыра на дыре! — и в подтверждение их де-
фективности свою тыловую часть демонстрирует

Но товарищ Воронин ему тотчас же уклон актуаль-
но разъясняет.

—Мы, —говорит, —товарищ конюшенный техник,
здесь не текущий ремонт вашей спецодежды в частно-
сти обсуждаем, а передачу излишков наших сбереже-
ний государству в целом. Это в в а ш и х же ин-
тересах... — и так бдительно это "в ваших" произне-
сет, что конюх тут же всю свою оппозицию ликвиди-
рует, хотя и в градусе состоит.

Руководящие статьи в нашу стеннушку "Плодо-
овощная правда" тоже всегда Петр Петрович состав-
лял. Большим талантом обладал! Точь в точь как в са-
мой "Правде" получалось, а к почетному юбилею на-
шего учреждения даже стихом вдохновился:

Союзплодовиновоць
Коммунизма строит мощь!
Союзовощвиноплод
Государству шлет доход!

Пушкину так не счинить! В точку!

О заданиях пратии и правительства Петр Петрович никогда не забывал. Стопроцентный, железный активист был. Увидит, примерно, что в каком-нибудь кооперативе по полкило селедки дают — сейчас туда заходит. У прилавка, ясно-понятно, давка: несознательные элементы друг на друга прут, стремятся в индивидуальном порядке продвинуться.

Петр Петрович легонько между ними свой портфельчик просунет и кованым уголком его по прилавок постучит:

— Не задержите меня, товарищ отпускающий, чтобы я мог тотчас вернуться к выполнению заданий партии и правительства, а вы, гражданин в спецовке, не протестуйте! Цели нашей партии выше ваших индивидуальных. И в бумажку мне заверните, товарищ отпускающий, чтобы я мог успешнее осуществить указания нашей партии и ее вождя...

Про бумажку-то он потому упомянет, что она дефицитная, и тем, кто своей не запасся, продавец с весов в пригоршню валит.

Неуклонно и повсеместно тов. Воронин свою политическую активность проявлял, даже сны актуальные видел, вроде как бы проработки докладов тов. Молотова с фотоиллюстрациями. Всем учреждением слушать сбегались. Кое-кто даже в сомнение по этому поводу впал, но парторг разъяснил:

— Сонные иллюзии в часы нормально-трудоового отдыха вполне допустимы. Отчего же? Пожалуйста!... Партия не против того, если, конечно, без мистики...

Ну, а Петра Петровича не только что мистикой, но и формализмом сны не пахли. Сплошной революционный реализм.

— Снилось мне, — начнет он — захожу я в нашу учрежденческую столовую. На буфете — полный гастроном: колбаса трех сортов, икра черная и красная, селедочка свеженькая, как комсомолочка, на блюде лежит, прованским маслицем залита, каперсами обложена...

— Это что за продукция — каперсы? — спросит Валечка, комсомолка.

На нее цыкнут: — Не прерывай докладчика! Вопросы запиской!

— А рядом с ней — сиг копченый...

Тут и другие разъяснения потребуют. Главбух Иван Яковлевич, еще в царском казначействе служил, облизнется и заинтересованных удовлетворит:

— Рыба такая водилась раньше. Во рту палку имела и высокую гастрономию содержала...

И не только продовольственные, но и организационные сны видел Петр Петрович. Как пойдет в Москву наш отчет с 180-процентным перевыполнением плана, ему обязательно тов. директор приснится в героическом виде. Недели не пройдет, а из Москвы благодарность и премирование директора полугодовым окладом... Ну, и еще кой-кого, плановика, конечно, Петра Петровича... Однако, через такой именно сон и произошла досрочная физическая кончина тов. Воронина.

Директором у нас был тогда Фишман, Лев Борисович, совнаркомовского ума человек. Нам, неответственным, ничего не заметно, а глядим — в годовом отчете 250% перевыполнения! Глазам не веришь!

Подходят сроки, и Петру Петровичу очередной сон снится. Входит он утром и тотчас сообщает:

— Видел нынче нашего самоотверженного героического руководителя в обстановке трудового подвига плодоовощного строительства!

Все, как полагается, изложил и, закончив красочной иллюстрацией блеска ордена на груди тов. Фишмана, причитающихся оваций от нас ожидает. А картотетчица наша, комсомолка, вдруг ему внеочередной вопрос задает:

— А вы, тов. Воронин, областную газету сегодня читали?

— Нет, — отвечает, — в силу длительности нормально-трудовых иллюзий в постели задержался. Не успел.

— Почитайте. Там статья интересная "Космополит в плодоовощи". Вот вам и номерок.

У Петра Петровича очки так на лоб и вскочили. Схватил газету и глазами к статье прикрепился.

Видим, кровеносная пульсация у него кверху пошла и конечности трясутся, а как дошел до фамилии Фишмана — газету выронил, а главбух будто про себя замечает:

—Тов. Фишмана сегодня в кабинете нет. Замзав ассигновки подписывает . . .

Смотрим, Петр Петрович в левый уклон подался и со стула на пол. Мы к нему, а у него уже и язык саботирует. Тут погрузили мы Петра Петровича на свои транспортные средства, и Чижок его в горбольницу отбуксировал. Там к вечеру и покончил он свое физическое существование, не приходя в классовое сознание . . .

Хоронили его, как полагается, всею демонстрацией пролетарской мощи. На могилу возложили от учреждения плодовоощной венки. До самого вечера лежал, ну, а как стемнело, конечно, сперли . . . Как иначе?

ПОРЧЕННЫЕ ВОЖДИ.

"Парк культуры и отдыха" в этом южном областном городе СССР был старинный, тенистый, с аллеями столетних каштанов, насаженных там еще по приказу именитого вельможи, одного из первых устроителей той полуазиатской окраины, но отдыха в нем было маловато. По вечерам на обеих "заптанцплощадках" ревели и джас-бандитски завывали фокстроты две голосистых радиопианолы. Многочисленные поклонники заатлантических шимми, которых здесь фамильярно называли "джимкой", космополиты обоего пола усиленно полировали дырявыми социалистическими подметками третий пол — буграстый асфальт площадок. Культуры было и того меньше. Вся она полностью умещалась на столике единственной культсотрудницы, тишайшей Анны Ивановны, приютившейся в непротекавшем уголке обветшалой крытой веранды некогда бывшего здесь городского клуба. На этом столике лежал десяток газет и столько же неразрезанных агитационных брошюрок.

Зато стены веранды были обильно и причудливо украшены множеством портретов и плакатов. Художественный вкус Анны Ивановны был, несомненно, близок к некогда знаменитому Бердслею и отчасти замумным поискам Пикассо. Она необычайно любила контрастирующие тона:

—Здесь черненькое — рядом беленькое... — приговаривала она, притыкивая кнопками очередной компанейский плакат, —а сюда вот этого, красненького... — и, отойдя, любовалась, склонив голову набок,

—совсем, как в мануфактурном магазине в старое время!

В результате ее творчества получались довольно неожиданные тематические сочетания: низколобый мопс Молотов подозрительно оглядывал напозавшую на него огромную сыпнотифозную вошь; резвые детишки в порыве благодарности за счастливое детство протягивали букеты цветов к рукам какого-то скелета, просунутым сквозь решетку тюремного окна, подпись под которым "все — в МОПР" случайно попала под угол их плаката; а сам "отец народов" во всем своем многообразии (висело не менее пятнадцати его изображений) то указывал своим мудрейшим перстом на афишу заезжего театра лилипутов, то демонстрировал перед поднятой им на руки счастливейшей из советских школьниц все, точно перечисленные, последствия аборта, то убеждал, если верить наклеенной внизу ленте, почтительно внимающего ему Горького нести деньги в советскую сберкассу...

В политические тонкости этих странных ситуаций Анна Ивановна не углублялась.

—У меня и без того дела хватает, — возражала она на мои робкие замечания о некоторых странностях ее развески, — я и пыль обметаю, и за ребятишками смотрю, чтоб чего не написали, и подмокших заменяю. Не до политики мне! А если вам политическая нужна, ищите другую! На шестьдесят рублей в месяц какая вам политическая пойдет?

Доводы Анны Ивановны были неоспоримы. Ее заработок в "Парке культуры и отдыха" действительно покрывал только затраты на 800 граммов хлеба по карточкам для нее и дочери. Служила она не ради заработка, а чтобы этой службой обеспечивать владение маленьким домиком на окраине города с крошечным огородом и кормилицей-коровой. Без службы обладание всеми этими богатствами ставилось более чем под знак вопроса.

Но к принятым на себя обязанностям Анна Ивановна относилась строго до щепетильности. Украшав-

шие веранду гипсовые бюсты вождей и отцов социализма ежедневно обметались и ни пылинки нельзя было найти даже в могучих бородах Маркса и Энгельса. С мальчишками, проявлявшими склонность к внеплановому творчеству в области литературы, она вела непрерывную, полную азиатских хитростей, войну.

Особо выдающихся партизан она знала наперечет и не допускала даже их приближения к веранде. Расчитывать ей приходилось только на собственные силы: оба парковых милиционера были далеко и у каждого из них было по горло работы. Один дежурил у входа, отражая явные и камуфлированные попытки проникнуть в парк лиц, чрезмерно запасшихся градусами в соседней закуской, а другой состоял верховным арбитром хореографии на обеих "заптанц-площадках" и был поглощен неустанным наблюдением за неприкосновенностью основных правил "джим-ки": не давать подножек счастливым соперникам, сыпать шелуху от "сталинского шеколада", а по-старому семечек, непосредственно в карман, а не на пол, и, в целях той же половой санитарии, извлекать папироски из ртов танцующих, что было особенно трудно: танец с папироской в зубах служил дипломом на ловкость кавалера, а обнаружить и уловить чемпиона можно было лишь по чуть заметному дымку...

Поэтому, в силу своей изолированности, Анна Ивановна была принуждена вести войну всеми видами современного оружия. Угадав диверсанта в приближавшемся с небрежным видом мальчишке, она уже издали начинала психологическую контр-атаку:

— Думаешь, я тебя не знаю? Ты на Подгорной живешь, и у мамки твоей корова рябая... Напиши, напиши, попробуй! Я и матери скажу, и сама с тобой разделаюсь!

Если диверсант продолжал наступление, то холодная война переходила в горячую — в него летели заготовленные в ящичке стола камешки, а при упорстве врага сама Анна Ивановна с метлою устремлялась на противника в качестве броневоего корпуса.

Редко кому из мальчишек удавалось начертать хотя бы самое короткое из крылатых слов даже где-нибудь на уголке самого незначительного плаката, вроде "все на сбор утильсырья". Портреты же хранили нерушимую девственность, и лишь раз, когда вызванная срочно к директору Анна Ивановна неосторожно доверилась бдительности техника-подметайлы Калиныча и не заперла дверей веранды, враг проник на территорию читальни и не только глубоко выскреб гвоздем короткое, но звучное крылатое слово на лбу самого гениальнейшего, но и протравил гипс тут же приготовленным составом из собственной слюны и химического карандаша со стола Анны Ивановны.

К счастью, в чулане при веранде имелся столь же мудрейший дубликат и замена осталась неизвестной широким массам. Калиныч и Анна Ивановна уволокли пострадавшего от происков мировой буржуазии вождя в чулан, а на его место внутрипартийным порядком водрузили нового. Прочие трудящиеся не заметили произошедшего переворота, но нетленные остатки изуродованного "солнца мира" Анна Ивановна не кремировала и не погребла за верандой, куда по утрам Калиныч сгребал осколки спасенных от бдительности входного мильтона, но случайно разбитых бутылок (небитую кто же бросит? Это валюта!)

Для изуродованного бюста она, как в Москве для Ленина, соорудила из обрезков фанеры род мавзолея в темном углу чулана. Отскребать же гениальнейший лоб она не решилась: яд буржуазной отравы проник до самых гипсовых мозгов мудрейшего из мудрых.

—Еще на меня подумают... Языки-то у всех длинные, а комиссию на акт созывать — огласка,— решила умудренная революционным опытом Анна Ивановна, но в тетрадку с его же светоносным изображением на обертке все же занесла убыток, причиненный врагом государству рабочих и крестьян. В обращении с социалистической собственностью страны советов Анна Ивановна была аккуратна, как аптекарь. Поэтому каждый поступающий к ней портрет, плакат и даже самую

ничтожную листовочку она тотчас же заносила в приход, а вышедшие из широкого и узкого потребления — в расход, с указанием причины. Баланс всегда сходился, и британским министрам, начинавшим свои социалистические опыты, можно было бы многому у нее поучиться.

Словом, даже без политграмоты, валютой, подлинной валютой, а не совслужащей была эта скромная шестидесятилетняя библиотечка! Казалось, никакая беда не может омрачить ее нормированное и планированное, безупречно-лояльное советское существование. И все же...

Рок подстерегает нас именно там, где мы менее всего ожидаем его ударов. Вот эта-то точность и аккуратность при обращении с социалистической собственностью и стали причиной гибели бедной Анны Ивановны.

Однажды в персонально-социализированном авто и в столь же персонально сшитом из западно-европейского гнилья пиджаке пожаловал к нам в парк культуры и отдыха один из тех, кто в СССР называются ответработниками, так как их самоотверженная работа устремлена к привлечению нижестоящих к ответственности в уголовно-поголовном порядке.

Парк разом ожил, хоть и был закрыт в этот час. Выскочивший навстречу директор административно распахнул дверцу подъехавшего авто; бухгалтер и оба счетовода в стройном трио защелкали на счетах и выразили на лицах нарастающий энтузиазм; картотетчица вонзилась бдительными очами в ряды разноцветных карточек, а технический подметайло тотчас же замел брошенный гостем толстый окурок в совок и в единоличном порядке понес его к урне. По дороге, конечно, окурок перешел в карман подметайлы: такие ответственные "бычки" не каждый день попадаются... Совком все же над урной он потряс.

Анна Ивановна тоже встрепенулась за своим столиком, выпрямила его уклонившиеся от генеральной линии ножки, обмахнула платочком безукоризненную

чистоту брошюрок и переложила свои тетрадки на ящика на поверхность стола. Чего ей бояться? У нее все "в ажур": вожди на местах, социализм торжествует на всех стенах и даже ни одного неосвоенного местечка не найдешь... Стахановская работа!

Это сразу понял, войдя в читальню, и сам ответственный. Окинув привычно бдительным взором все убранство, он не нашел в нем ни одного процента сомнительности. Это была уж моя заслуга, как зав. культ. частью. Я каждый день к знакомому уборщику окружка бежал, пивом его поил и неустанно повторял:

— Не забудь, дорогой товарищ, срочно информировать, когда у вас свежего врага народа со стенки снимают! Будь мне октябринским отцом! По самый крематорий не забуду!

Ну, и все в порядке было. В главлите еще висит предатель, а у нас — уже готов! Спекся! Секретарь агитпропа прибежит и похвалит:

— Вот это темпы! У вас словно с Лубянки прямой провод!

Оглянув стены, ответственный осмотрел и поверхность стола. Безупречно! "Известия", "Правда", "Труд" расположены в рамках плановой конвейерной системы, "Краткий курс истории ВКП(б)" горит маяком коммунизма...

— А это у вас что? — благожелательно, вплоть до премирования тремя метрами мануфактуры, потянулся он к тетрадкам.

В них-то, за синей обложкой, украшенной ликом потягивающего свою историческую трубку мудрейшего, и таился рок шестидесятирублевого советского эди-па, безупречной хранительницы достоинства трудящихся Анны Ивановны.

"Но примешь ты смерть от коня своего", — писал когда-то, еще не зачисленный кандидатом в ВКП(б), камер-юнкер Пушкин.

— Реестрик, — зацвела обязательной улыбкой Анна Ивановна, — в него все занесено: и вожди входящие, и вожди исходящие, а израсходованные лозунги... в добавлении...

—Что-о-о?— не то с удивлением, не то с интересом протянул ответственный и открыл тетрадь. По мере ознакомления с содержанием реестра его лицо отражало на своей поверхности все многосложные задвижения от героя труда до врага народа.

—Что-о?! Что-о-о?!! Что-о-о-о??!!!— наростало, как налоговый пресс на частного практикующего врача. —Читайте! —ткнул он тетрадку директору.

Тот, побледнев до самого заматерелого белогвардейства, протер культурно выстиранным платочком полагающиеся по штату круглые очки и впился глазами в тетрадь. Там на аккуратнейше разграфленной белизне было выведено четким почерком Анны Ивановны:

ВЕДОМОСТЬ ПРИХОДА И РАСХОДА ВОЖДЕЙ ПЕЧАТНЫХ И НЕПЕЧАТНЫХ (ГИПСОВЫХ)

1. В расход:

1.	вождей подмоченных	23	штуки
2.	„ бракованных свыше	16	„
3.	„ порванных с краю	8	„
4.	„ изношенных за старостью	12	„
5.	„ замаранных	3	„
6.	„ поврежденных в головах	4	„
7.	„ устарелых прошлогодних	126	„
8.	„ без голов	6	„
9.	„ испохабленных	1	„

Итого в расход 338 вождей

2. В приход за тот же период поступило:

1.	вождей свежих	276	штук
2.	„ бывших в употреблении	120	„
3.	„ сомнительных качеств	12	„

Итого в приход 408 штук

с прежде поступившими

из них в обороте

„ „ „ резерве

Всю эту безупречную, "в ажур", бухгалтерию я прочел, глядя через вздрагивающее директорское плечо. Дальше я не интересовался ею, так как мое соб-

ственное дальнейшее местожительство представляло уже больше интереса. Исходя именно из этих соображений, я с быстротой, которой позавидовал бы сам старший экономист ВСНХ, спланировал свои ближайшие срочно-внеплановые маршруты и в темпах, превосходящих передовых энтузиастов социалистического подъема, добежал до квартиры, сунул в наволочку всю личную, допущенную законом, личную собственность, а в карман менее допускаемый им же комплект заранее заготовленных удостоверений (это надо каждому иметь, как культурную зубную щетку!) и паспорт на обновленное имя... да и был таков! Два перегона я пробежал в стиле непрерывного эстафетного испытания на значек "Готов к труду и обороне"; на третьей станции в результате взаимного трудового соглашения с кондуктором был допущен пребывать в лежащем состоянии на тормозной площадке товарного вагона, в каковом и прибыл на одну из сибирских новостроек... На них и "со всячинкой" берут!

О судьбе Анны Ивановны после ответственного контроля ее точной бухгалтерии я узнал там же, но лишь через год. Бывают же совпадения! Она грузила уголь на той же новостройке и ночевала в особо отведенном помещении за проволокой. Эта встреча возбудила во мне интерес к дальнейшим передвижениям, а Анна Ивановна оставалась там еще четыре года.

Остерегайтесь, господа, статистик, бухгалтерий и прочих двойных премудростей! У них и последствия двойные бывают: и премирование до срока и отбывание до срока... Учитывайте накопленные ценности социалистического опыта!

ПРОВОКАТОР ПОЛИКУШКА.

—Ну, милый вы человек, это сплошная глупистика! У него диплом филологического факультета в кармане, а он сидит счетоводом на двухстах рублях... Я же вам семьсот гарантирую. Шесть рублей в час и все старшие классы — ваши! И меня выручите: до экзамена два месяца, а учитель "на курорт" выехал... Положеньице!

—Не отпустят меня, пожалуй.

—Не отпустят? Да я через райкома проверну. Не отпустят?! В "другом месте" тогда поговорим!

Сосед Петра Степановича по квартире, он же директор школы-десятилетки, говорил веско и уверенно. Вески были и доводы: уцелевший во всех передрагах диплом, семьсот в месяц и — косвенно — упоминание о "другом месте".

—Отвык я от педагогической работы...

—Привыкнуть — раз плюнуть! Ребята же у меня хорошие. Без пропаганды вам говорю, смирные и успешные. Ведь моя школа в пригороде. Из колхозов ребята. У них всегда и дисциплина и успеваемость выше. Любого учителя спросите. Правило. Так по рукам? Даешь пять!

Мощная длань директора поглотила вялую пятерню Петра Степановича и в ударном порядке вытрясла из него последние колебания.

—Есть контакт! Завтра же в райкоме проверну! Послезавтра жду в школе. Пока!

Все прошло, как по графику. Наутро директор забежал в кабинет секретаря райкома.

—Ну, отыскал себе литератора! Из земли в точном значении выкопал — в земотделе счетоводом прееет. Высокий специалист! Императорский университет кончил. Диплом с орлом! Сам видел. И лояльный человек. Проверенный. Пять лет на одном дворе живем. Телефонь в земотдел, чтоб не задерживали.

В два часа дня Петр Степанович получил уже расчет, а на следующее утро внимал последним инструкциям директора:

—Помните, советская педагогика — это живой, непрерывный обмен мысли. Вопросы и ответы. Ответы и вопросы. Весь класс непрерывно вовлечен в работу... Ну, вам — в седьмой! Прекрасный класс. Всего!

Класс действительно был хорош. Вежливенько встали при входе Петра Степановича, дежурный сказал, кого нет, и урок начался.

—Ну, на чем вы окончили с прежним учителем?

—"Поликушку" Толстого прочли, а проработать не успели, как Семен Семеновича... то-есть заболел когда Семен Семенович! — доложила с первой парты обладательница двух восстановленных в правах русских косичек.

—Прекрасно, прекрасно,— похвалил кого-то неизвестного Петр Степанович. —Начнем проработку "Поликушки". У кого есть вопросы?

После минутного молчания над серединою класса, подобно ракете, взметнулась рука, принадлежавшая явному активисту: три пальца были обвязаны тряпичками, а с ладони вопил жирно выписанный чернилами вопросительный знак.

—Ну-ну, что тебе непонятно? — подбодрил активиста Петр Степанович.

—Почему Поликушку не посадили?

—Да за что ж его было сажать? Ведь деньги же нашлись?

—Не за деньги, а за вредительство. Он — враг народа!

—Что ты, милый мой,— изумился Петр Степано-

вич, — да какой же он вредитель? Человек он бедный...

— Что с того, что бедный? А колхозных коней лечил без дозволения? Дошли кони? Дошли. Ясно-понятно — вредитель. У нас в бригаде в том году Титыч — дед, конюх, мерина "от ветров" своими средствами лечить стал. "Я враз, грит, его поправлю". А мерин-то раздулся, как пузырь, и подох. Так Титыча самого тут враз забрали и по сегодня его нет. Вредитель и враг народа. Так и объявили.

— Видишь ли, в мрачные времена царизма медицина, то-есть ветеринария, стояла на низком уровне, и Поликушка... — Петр Степанович сконструировал в уме уже длинную речь о бедах темного крестьянства, угнетенного проклятым царизмом, но с первой парты обиженно прозвучал голосок обладательницы двух русских кос:

— Вот вы говорите, Поликушка — бедняк, а в книжке написано, что у него своя корова была, свинья с поросятами, два десятка кур... Какое же это бедняцкое хозяйство? Даже, извините, очень зажиточное...

Царизм пришлось временно оставить в покое и переключиться на весьма туманное доказательство того, что корова и прочее были, собственно говоря, помещицьи, а бесправное, угнетенное крестьянство... Но и эта тема осталась незаконченной. Раздались еще вопросы. На лбу Петра Степановича выступили капли пота. Чем дальше развертывалась проработка Поликушки, тем они становились крупнее и гуще... а до звонка оставалось еще целых двадцать пять минут.

Тема была, видимо, близка и забориста. Рассказ был прочтен внимательно. Спрашивали о подробностях, давно уже стершихся в памяти Петра Степановича. Неожиданность сменялась неожиданностью.

— Где Поликушкина баба мыло брала, или сама она его из дохлятины варила? Сколько "соток" барыня давала Поликушке под огород? А дрова он где воровал? Как это барыня, дура такая, деньги Поликушке без расписки доверила?

Советская педагогическая методика, основанная на

живом, непрерывном общении учителя с учениками, подхватила Петра Степановича, как ветер сухой листок, кружила его, то подбрасывая, то ударяя о землю. Пот с него лился уже ручьями.

Директор не хвастал: класс был на самом деле активный, вдумчивый. Интерес к теме урока возрастал с каждой минутой. Руки, перепачканные то чернилами, то дегтем, взлетали уже десятками. Живой обмен мыслями начался и между самими учениками. Русые косы трактовали получение Поликушкой муки и прочего от помещицы, как законную оплату трудодней, но активист с вопросительным знаком протестовал:

—Какие могут быть трудодни, когда ему нормы не дадено? По благу он ловчил! Какая у него работа была? Туфта! Попади он к нам в третью бригаду — завертелся б тогда!..

Тут сердце Петра Степановича застучало, как пулемет, остатки старорежимной души вошли в непосредственный контакт со стоптанными каблуками, а в глазах запестрели экспортные рябчики... К счастью, раздался звонок.

В учительской он плюхнулся на диван, даже не почувствовав впившейся в спину дефективной пружины.

—В амбула...— договорить он не смог.

Уборщица Карповна кое-как довела его до амбулатории, и контрольный врач, без упрасиваний и споров, подписал больничный листок.

Вечером к нему заглянул сосед-директор.

—Ну, как наше ничего? Когда в школу?

Петр Степанович поднял с подушки обвязанную мокрыми тряпками голову.

—В школу? Нет уж, извиняюсь. Не затянете. Хоть в "другое место" вызывайте. Чорт с ними, с семьюстами рублями! Я человек лояльный и вовлечь себя в авантюру не допущу!

—Вы что? Запсиховали, товарищ дорогой? Какие там авантюры?

—Какие? Это у вас проработкой называется? Это сплошная контрреволюция! Пятьдесят восьмая статья по всем пунктам! Провокатор ваш Поликушка! И Тол-

стой-то хорош! Еще "зеркалом русской революции" называется! С таким зеркалом знаете куда угодишь? Я и диплом свой сжег, и жене приказал портрет Пушкина снять. Тоже ненадежен. Давно пора русским классикам чисточку хорошенькую сделать! Чего только товарищ Берия смотрит? Где же бдительность?..

ФИЛОСОФИЯ ПЛАТОНА ЕВСТИГНЕЕВИЧА.

Весной 1942 года, когда стало ясно, что немцы займут Северный Кавказ, мне пришлось призадуматься о будущем. Для меня было очевидно, что перед уходом Советы "хлопнут дверью" и что я сам почти наверняка попаду под этот "хлопок". Ведь я знал, что меня терпят лишь постольку, поскольку я нужен, как квалифицированный культработник, но в острый момент со мной сведут счеты. В дальнейшем так и произошло с теми, кто своевременно не принял мер самозащиты. Они были арестованы в последние дни перед сдачей Ставрополя; часть их была перебита в тюрьме брошенными гранатами, а другие угнаны в восточном направлении и застрелены по дороге.

Всемогущий советский блат помог мне преобразиться: я поступил садовым сторожем в один из пригородных колхозов, вынул вставные зубы, отрастил бороду и превратился в самонастоящего деда, живущего в своем садовом шалаше и пугающего ребятишек увесистой дубиной. Туда же я перетащил и сынишку, которому тогда было три года. Он считался моим внуком, кстати и подкармливался там, так как в городе уже наступил полный голод: кроме хлебного пайка — ничего.

Скоро у меня завелся там друг — Платон Евстигневич, инвалид гражданской войны, "почетный старик" колхоза и коммунист с 1918 года. Он был ночным сторожем при амбарах, и мы с ним коротали теплые летние ночи, покуривая самосад около моего шалаша.

— Советская власть — очень замечательная

власть,— рассуждал, сплевывая, Евстигнеевич, —при ней, милосердие, все можно. Понимаешь: все! Только... осторожно!— хитро прищуривался он. —Людей понимать надо, какие они есть. Все равно, как замки. Рассмотрел его, подобрал ключик и пожалуйста — все твое! Так-то.

Евстигнеевич любил пофилософствовать и, найдя во мне внимательного слушателя, воспылал ко мне искренней дружбой. Очевидно, и моя седая голова внушала ему доверие.

—Вот, Марья Семеновна, качественница наша. Знаешь ее? Активистку-то?— пояснял он мне свои умозаключения жизненным примером. —Сказать прямо — стервь она... На все сто процентов сволочь. От нее никому житья нет. Сам председатель ее, как чорта, боится. А я — нет! Во!— ухмылялся Евстигнеевич. —Как хочу, так ее и поверну. Потому у меня ключик к ней подобран.

Каков был этот ключик, Евстигнеевич по понятному благоразумию мне не разъяснил, но я легко угадывал его. Эта Марья Семеновна была действительно стопроцентной стервой, ярким выражением того типа сварливой, завистливой, наглой бабы, из которого формируется партией(деревенский жен. актив. Она собирала все сплетни, не без ловкости группировала их и пускала в ход то в форме "самокритики" на колхозных собраниях, то в виде прямых доносов во все соответствующие инстанции: в профсоюз, в комсомол, в парторганы и в самое НКВД. Кроме того, должность качественницы, т. е. контроля добросовестности выполнения полевых работ, давала ей широкие возможности шантажа всех без исключения колхозников, вплоть до агронома и самого председателя.

Она же была главной пружиной всех грабительских кампаний, подписок на заем в принудительно-добровольном порядке и других подобных сборов.

—Ишь, теперь вот она на ероплан собирает... опять же одежду теплую... одеяла для армейцев... У Скудиных новое забрала. Им деваться некуда: сам-то в ссылке, ну и дали со слезой. А она его обменила:

свое старое заместо него сдала. Теперь ко мне с тем же сунулась, да и ушла ни с чем. Я ей намек подал, она и повернулась. Так-то, милочка! А жить при советской власти очень возможно, если, конечно, умеючи. Вот какие дела-то!

Преподав мне эти основы житейской мудрости, выражаясь стилем Канта, критику практического разума, Евстигнеевич переходил к высшим материям: к критике разума чистого.

—Опять же — партия. Я сам в ней с 18-го года состою, и оба сына партийные. Как иначе? Без этого дела им ходу нет. А трудно, что ли, на собрание сходить? Сходил, прослушал, что тебе полагается, и гуляй по своим надобностям. Оба сына у меня теперь в люди вышли.

—Что ж ты их от себя пустил?

—Что им в колхозе делать? В навозе ковыряться? Нет, милочка, они у меня теперь оба чиновники, а младшая дочка докторица. Живут все ничего, слава Богу.

—Вот ты — партийный, а Бога-то все-таки поминать?

—Здесь не собрания,— ухмыляется Платон Евстигнеевич. —Ежели ты к религии имеешь приверженность, опять же с умом действуй. Дитю покрестить желаешь, — пожалуйста! Отчего же? Позови к себе из Заготтреста бухгалтера, без наглядности, конечно, или сам к нему вечерком дитю снеси, он хошь и бухгалтер, а на нем сан... Все, милочка, возможно, ежели с пониманием.

—А ты, Платон Евстигнеевич, признайся по секрету, сыны твои таким способом внучат твоих окрестили?

—Это дело ихнее,— уклончиво отвечал мой собеседник. —Я в их веру не мешаюсь. Бабы, конечно, приверженность к ней имеют. Что с них возьмешь!

—По-твоему выходит, что настоящих идейных коммунистов совсем и нету?

—Зачем нету? Есть и идейные.

—Где ж они?

—А вот погоди, милочка, увидишь,— подмаргивает Евстигнеевич. —Все увидишь наскорях: какие идейные, какие безыдейные. Оно скажется.

—Когда ?

—Я говорю — увидишь. Значит, верно. А когда — в четверг, там, или в пятницу, это не нашего, с тобой ума дело.

—Когда немец придет, тогда узнаем? — ставлю я вопрос ребром.

Но Платон Евстигнеевич верен себе. В лоб его не прошибешь. Он помалкивает, ухмыляется и отвечает сторонкой:

—Придет, там, или не придет, это нам неизвестно. На то генералы есть, председатели разные... А мы с тобой люди маленькие. Нам что: прикажут — мы послушаем, вот тебе и весь сказ... А только... ежели такому случаю быть, то-есть немцу сюда предстоит притти, — продолжает свои умозаключения Платон Евстигнеевич, — то наш председатель этого немца не увидит.

—Сбежит, думаешь ? Побойтся немца ?

—Чего ему немца бояться ! Немцу что он, что мы с тобой — все единственно, а сбежит председатель от своих, своего народу он побойтся, вот оно, милоч, какое дело. Ты рассуди да посчитай: люди-то наши колхозом очень довольны ? Как по твоему разумению ? А я тебе так скажу: никому в нем настоящей жизни нет, хотя бы и партийным. Все друг на дружку озираются, друг дружке завиствуют. Ему же, председателю, ото всех зависть. По три трудодня ему на день начисляют ? Это посчитай: более тысячи в год выйдет. Опять же квартира: две комнаты с балконом, пара лошадей — супруге на базар ездить, того-другого сбоку подвалит из продуктов, да и когда в кооператив что попадет, ему же опять без очереди на дом доставят... В общем и целом, это на сколько, по-твоему, выйдет ? И не сосчитаешь ! Как же ему не завиствовать ? Со стороны глянуть — паном живет, а если вникнуть в это дело, ему поплоше нашего. Пока приказы выполняет, жмет народ, — ему благодарность, а случится гайку отпустить, так сам он в первую очередь загремит. Тут ни на что не посмотрят. Но народ с этим считаться не будет, по-

тому ~~каждому~~ свое дорого... А окромя того, он не нашенский чужак.

— Ну, а Марья Семеновна, она тоже драпнет?

— Ей-то заем? Какой с бабы спрос? Полают ее, конечно, свои женщины, на том и делу конец.

— Так ведь ее теперь больше всех ругают? Ты же сам говоришь — стерва!

— Правильно! Мировая стерва. Ну, и что ж с того? Брань на ворота не виснет. Мало ли что бабы промеж себя говорят.

Вот и разберись тут в зигзагах деревенской психики, думаю я. Председатель виновен в том, что он выполнял приказы своего начальства, от чего уклониться он не мог. Но он чужак в колхозе, чиновник, и в силу этого ему прощенья нет, с ним расправятся. А активистка, насолившая решительно всем по собственной инициативе, ради собственной выгоды, будет прощена. Она — своя. "С бабы какой спрос?"

— Насчет профорга что думаешь? Он ведь здешний, из своих крестьян, значит...

— Его статья особая. По роду он — правильно твое слово — наш, а только пошел по интеллигентности.

— Да какой же он, к чертям, интеллигент? Возмущаюсь я. — Недоучка малограмотный. Понюхал чего-то в совпартшколе, вот и вся его грамотность.

— Это нам без понятия. Мы сами малограмотные. А через него много слез пролито. Тебе, конечно, не приметно, а нам доподлинно известно, куда чья рука писала.

Трудно охватить этот сложный комплекс деревенских взаимоотношений, думаю я. Недаром лучшие наши писатели о мужика себе зубы ломали. Раскуси-ка этот орех! Пожалуй, и самому НКВД не под силу.

— А агроном? — продолжаю я свою анкету еще об одном из немногих коммунистов колхоза. Агроном этот молодой, веселый парень из крестьянской семьи, не дурак выпить, держится со всеми за панибрата, дает мелкие поблажки, но на собраниях громче всех слово-словит Сталина. — Он, по-твоему, куда подастся?

—Агроном-то? Ему чего же опасаться? Первейший наш человек!

—Чей "наш"? Сам-то ты кто, Платон Евстигнеевич? Коммунист?

—А как же? Партийный с 18-го года! — искренно удивляется старик. — Хошь, билет покажу?

—Ничего я в тебе не пойму! Что ты в партии — я знаю, а рассуждаешь ты, как обыкновенный мужик.

—Я и есть обыкновенный мужик, — совершенно искренно и вполне уверенно отвечает Платон Евстигнеевич, — мужик, колхозник, жук навозный.

—Председатель тоже партийный, а ты сам говоришь, что он от вас же, мужиков, убежит. Что ж выходит? От кого побежит? От тебя же? От партийного?

—Ну, и что ж с того? Его такая линия.

—Так ты ж тоже коммунист?

—Говорю ж тебе — с восемнадцатого года!

—И мужик?

—Мужик.

—Как же так?

—А ты черепах в степу видал? Кто она есть, черепаха эта? Жаба. Аккурат, в точности жаба, только что костью обрасла. А для чего, к примеру, ей эта кость? Чтобы ее камнем кто не перешиб. Понял? — толкает меня локтем в бок Платон Евстигнеевич. — Понял, милочка, какая это кость есть?

Я всматриваюсь в предрассветном сумраке в поблескивающие хитринкой глазки Платона Евстигнеевича и воспроизвожу в мозгу пропитанную им жизнь.

Мы сидим в саду, разведенном еще прежним владельцем хутора, богатым экономистом-тавричанином. Этот тавричанин был расстрелян в двадцатых годах. Его землю расхватили тогда такие же, как он, но не разбогатевшие мужики. В первую очередь и лучшие участки получили уже вступившие в партию. В числе их был мой теперешний собеседник. Именно тогда и начала наростать на нем эта "черепаховая кость". Пришел НЭП, и многие из получивших вместе с ним наследство тавричанина быстро и несоразмерно разжире-

ли. Их "кость" размякла или была ими нерасчетливо сброшена, а Евсигнеевич сохранил ее на себе и, в силу этого, уцелел при ударе сплошной коллективизации, когда разжиревшие и размякшие погибли.

Каков же он теперь? Сыновья нарастили свою "кость", вышли в люди и вырвались из колхозной барщины, а у него со старухой сохранился построенный при НЭП-е домик под железной крышей, коровка, десяток ульев (больше нельзя), полдюжины овец, свинка... "Кость" им защита. Сторожить запертый амбар — работа легкая, а за нее начисляют полный трудодень, да и премирования ему идут, как "почетному старику".

В пять утра, когда скотницы выйдут на баз, он снимается с поста. Поспит по стариковски до десяти — и на пчельник или на свой огородик, а старуха — в город, на базар, торговать молоком или картошкой с того же огорода. Чего ж лучше по теперешнему времени? И все эти блага ему бронирует "кость" — партбилет с 18-го года.

А что под нею? Под "костью"?

Взошедшее солнце освещает всего Платона Евсигнеевича, вплоть до сетки мелких морщин, бороздящих его скуластое, обветренное лицо. Смотрю на него: мужичок, как мужичок, обыкновенный и даже ледащий. Бороденка реденькая, из дыр бушлата торчат хлопья серой ваты. Закручивает цыгарку из самосада со своего же огорода, смотрит на меня и посмеивается.

— Так-то, милочка! Жисть нашу, как она есть, понимать надо. Видишь, к примеру, лужу или, там, просто топь, — обходи сторонкой, на рожон не при. Держи свою линию! На собранию зовут? Отчего же, с полным нашим удовольствием. Даже антиресно часок посидеть, что там болтают послушать. Благодарность кому объявить? Будьте любезны! Мы не против того. А сам — живи! И все тут. Крышка. Молчок. Тебе вот партбилет мой удивителен? А ты рассуди, что он есть паспорт и ничего более. Кармана не протрет, значит, и вреда от него нет. А польза очень возможная. Наша советская власть от другой какой не хуже, она все допускает... ежели кто с умом действует.

Когда над нашим колхозом пронеслись первые тяжелые немецкие бомбардировщики и со стороны города слышались раскаты взрывов, философские прогнозы Платона Евстигнеевича начали реализовываться с поразительной точностью.

Первым удрал на своей паре председатель. Его бегство было, очевидно, им продумано и подготовлено заранее, так как сундуки были уже увязаны, кассовое наличие колхозных средств благополучно перемещено в его карман и даже несколько пудов масла с ледника упаковано в соответствующую дороге посуду. Но сам отъезд был для него все же внезапностью. Атака немцев на Ставрополь была буквально молниеносна, а сопротивление его тридцатитысячного гарнизона столь слабо, что немцы заняли город, потеряв всего семь человек.

Мимо нас, по дороге на станицу Темнолесскую, беспорядочно бежала пехота, командиры срывали знаки отличия и только эскадрон НКВД пронесся на рысях стройными рядами, рассекая и давя заполнявшую дорогу толпу.

В эту толпу втиснулась председательская пара и унеслась в ее потоке. Вместе с ним укатил и профорг, которого Евстигнеевич зачислил в интеллигенты. Позже я узнал, что это звание было присвоено ему за множество написанных им доносов, по которым попало в концлагеря достаточное количество его односельчан.

Но жена этого профорга осталась и в дальнейшем не только не подверглась никаким репрессиям, но даже сохранила до прихода красных (через пять месяцев) порученную ей председательскую корову.

Когда со стороны города стала доноситься пулеметная трескотня и мы поняли, что город взят, многие, очень многие колхозники, а главное женщины, облегченно перекрестились.

Мы стояли кучкой перед управлением и смотрели на клубившийся над городом дым от подожженных нефтехранилищ. Молчали. Первым подав голос веселый агроном.

— Ну, кончилась советская власть !

Платон Евстигнеевич толкнул меня под бок.

—Пойдем в правление.

—Я-то вам на что? Я человек сторонний, городской, в крестьянских делах ничего не понимаю.

Евстигнеевич ухмыльнулся и подморгнул.

—Думаешь, я не знаю, кто ты есть? Я тебя насквозь вижу. Теперь ты человек нам очень нужный.

Мы кучкой прошли через опустевшую канцелярию и вошли в комнату председателя. На полу было раскидано кое-какое тряпье, а на столе стояла откупоренная литровка водки и налитый, но не выпитый стакан.

Кривой кладовщик деловито понюхал его и, убедившись, что водка настоящая, хлопнул.

—За упокой души советской власти, пропади она пропадом!

Кто же был в комнате? Агроном, кривой кладовщик, хотя и беспартийный, но старавшийся всегда выказывать свою активность, комбайнер — здоровенный дядя лет сорока, оказавшийся потом казаком, сбежавшим из концлагеря, счетовод-бухгалтер и я, а в уголке тихонечко примостился Платон Евстигнеевич.

—Что теперь будет?

—Очень просто: порядок немцы установят, — безапелляционно заявил комбайнер, — а до того времени, когда к нам ихняя власть придет, надо самим порядок держать. Первое дело тебе, Евстигнеевич: эту ночь не спать, а то как раз муку растащут. И тебе, кривой, тоже за кладовой присматривать... А там дальше само дело покажет.

—Это правильно, — согласился бухгалтер, — но только надо и старшего избрать, хотя бы для видимости. Для людей это будет внушительнее. Предлагаю агронома.

—Дело ясное — агронома! — согласились мы.

—А мое слово такое, что сторожа нашего садового за старшего поставить, — раздался из угла голос Евстигнеевича.

—Это, значит, меня? — удивился я. — Какого чорта я буду делать?

—Тут и делать вам ничего не придется, — первый

раз обратился ко мне на вы Евстигнеевич, —мы за вас сами все сделаем. А вам нужно начальство взять, потому как вы офицером были, да и по-немецкому, наверно, балакаете.

—Ты откуда это знаешь?— еще более удивился я.

—Эге, милоч, думаешь, не понял я, кто ты есть? Попа, брат, и в рогожке узнаешь!

Но я решительно отказался от возглавления колхоза и принять власть пришлось агроному.

На следующий день в колхоз прибыл патруль мотоциклистов. Я переводил первые переговоры с офицером, который тут же на месте утвердил власть агронома, разрешил взять по 10 пудов муки на семью и поделить стадо колхозных коров. Все это делалось просто, и я сильно сомневался, что этот случайный зондерфюрер имел достаточные полномочия. Но он был боевым офицером, и опыт похода от Вислы до Кубани, очевидно, многому его уже научил.

Потом я переехал в город и имел сведения о колхозе лишь обрывками: то один, то другой из колхозников заходили ко мне в редакцию, советовались и рассказывали о своих делах. В колхозе все шло нормально, всех интересовало — разделят ли немцы землю на единоличные участки, но военное командование по этому поводу отмалчивалось, ссылаясь на ожидавшийся приезд гражданского управления, т. е. чиновников Розенберга, которые, к счастью, до Северного Кавказа так и не доехали.

В январе немцы отступили, и с ними ушло много беженцев. Среди них я встречал веселого агронома, который позже вступил в армию Власова, видел кладовщика, спекулировавшего в Мелитополе и Одессе. Узнал о судьбе стержовы-активистки. Она, оказалось, принесла публичное покаяние на колхозном собрании, ругала на чем свет стоит Сталина и изображала себя невинною жертвою обмана. Немцы дали ей какое-то назначение. Но в эмиграцию она все же не попала. Вероятно, не смогла расстаться с накопленным добром и рассчитывала снова перевернуться и вывернуться при возвращении красных. Вряд ли ей это удалось. Сведе-

ния, которые мы получали с "той" стороны, говорили о том, что подобные субъекты неминуемо попадали впросак. Советская власть, без всякого сожаления откидывает выжатые лимоны и расправляется с маврами, сделавшими свое дело.

Ну, а Платон Евстигнеевич? Какова его судьба? При немцах он тихонько и смирененько сидел в своем домике и попрежнему добросовестно караулил амбар. Никакой должности он на себя не принимал, хотя мне рассказывали о том, что его усиленно выдвигали свои колхозники.

"Видишь, примерно, грязь или лужу ---- так обходи сторонкой. Не при на рожон. Мы --- люди маленькие", --- вспоминались мне его формулы житейской мудрости.

Я думаю и даже уверен, что он попрежнему живет в своем домике или спокойно отдал Богу душу, как полагается ему по годам. "Черепяховая кость" снова предоохранила его от возможного удара, под который попали другие.

Сколько в колхозах таких Евстигнеевичей? --- пытаюсь прикинуть я теперь. Господь их знает, но думаю, что много: их вырабатывают сами условия жестокой подсоветской "житухи".

ВОРОТА КОММУНЫ.

—Ну, дети, теперь все вместе! Повторим...

"Старый мир уж до нас разрушали,

"Мы обязаны новый создать..."

Серафима Порфирьевна взмахнула сведенными ревматизмом ручками, плавно развела их в стороны и задребезжала старческим фальцетом:

"В нашем мире нет места печали..."

—Лида! Васька! Что вы замолчали? Ну?..

В открытое настежь окно столовой детдома № 3 в поселке Пролетарском, бывшем хуторе Царском, просунулась наголо бритая голова директора школы, он же парторг, Синькина.

—Репертите? Очень прекрасно! Значит, так решаем... — эта трехчленная формула неизменно повторялась Синькиным во всех его больших и малых речах. — Из района инструкция к проведению торжеств... Значит, так решаем — двадцатилетие освобождения Ставрополя от белобандитов. Понятно? Значит, я — воспоминания, как красный партизан и герой местного значения, а детдом и школа — демонстративным порядком на братскую могилу.

—Это к самому-то Безопасному! — всплеснула разведенными ручками Серафима Порфирьевна. — Восемь километров! А если дождь?

—Не восемь, а так решаем — шесть. От братской до Безопасного еще три с гаком. Там заборчик и ворота подправить надо. Вы, так решаем, пришлите ко мне Шкетова, переростка, что из беспризорных. Он, конеч-

но, решаем, шпана, однако, активный художник... Вам же подготовить концерт...

—Готовлю, сами видите. А если дождь?

—Так решаем, что сухмень и жара, какой старики не помнят. На дождь указаний нет.

Голова Синькина скрылась. Серафима Порфирьевна возвела обе ручки к густо засиженной мухами бороде Карла Маркса.

—Ну? Все вместе, еще раз...

В знаменательный день октября, который, подтверждая отмеченное еще Грибоедовым вранье всех календарей, бывает теперь в ноябре, перед школой поселка Пролетарского с шести утра началось построение колонн манифестантов. Две комсомолки учительницы, только лишь этой осенью присланные из Ставрополя в насчитывающую уже пять классов Пролетарскую семилетку, рекордно объятые полагающимся энтузиазмом, расставляли ребят по ранжиру. Четыре "основоположника" важно разместились на ступеньках школьного крылечка, а товарищ Молотов стыдливо выглядывал из-за забора палисадничка. С ним случилась авария: когда снимали со стены, подрались и аккуратно нос ему прорвали, хотя лично он в драке участия не принимал.

Погода, видимо, не собиралась срывать выполнение плана. Все облака были предусмотрительно изолированы где-то за горизонтом, и солнце выполняло норму по-стахановски.

Из проулка, густо пыля, вынесся сельсоветский драндулет, и стоявший на нем Синькин по-ворошиловски оглядел колонну.

—Значит, так решаем,— крикнул он, не слезая, —детдом уже выстроился. Разбирайте портреты, а я в район. К десяти прибудем на братскую с делегатами. Так решаем...— донеслось уже из облака пыли вместе с топотом галопирующей предколхозничьей пары.

А из проулка уже выходила колонна детдома.

Строгий строевик нашел бы ее построение несколько противоречащим уставу РККА. Вслед за колышавшимся в руках Шкетова знаменем две девочки несли портрет Карла Маркса, терпеливо прослушавшего много-

кратные повторения о разрушении старого мира, а за ними неровными волнами текли тройки. В каждой из них, в корню — девочка постарше, а на пристяжках — пара влекомых ею за руки малышей. Пристяжные, соблюдая традиции лихих троек проклятого царского времени, "вилились змеями", стараясь свободными руками прихватить горсть дорожной пыли. Сбоку троечной колонны семенила Серафима Порфирьевна, прихрамывая и подпираясь костыликом. По случаю торжества на костылике красовался большой кумачевый бант. Порой она поднимала костылик, точно салютуя Карлу Марксу, и бодро покрикивала:

—Васька (или Петька), опять балуешься!

По улице поселка Пролетарского широко разливалась песня:

"Открывает ворота коммуны

"Двадцать пятое нам октября..."

—Зачини ворота, старуха, про такой случай! — по какой-то внутренней ассоциации приказал выглянувший из окна дед Самоха. — Детдомовцы идут... Аккурат груши с сушила похватывают для праздника.

Колонна стала, песня смолкла, а Серафима Порфирьевна гордо взглянула поверх очков на учительницкомсомолок.

—Ну, как? А вы что подготовили?

—Гимн и "жертвою пали"... Еще стихи коллективно прочтут...

—Ну, конечно, у вас взрослые, — обиделась старушка, — но и мои малыши себя покажут! Семь уж, наверное... — затревожилась она. — Двинемся? Путь неблизкий!

С хутора вышли весело. Колонны смешались. Ребята то растекались по бурному раздолью осенней степи, то вновь стекались под знамя, которое твердо держал в руках Шкетов, но Карл Маркс переместился от девочек в свободную руку самой Серафимы Порфирьевны. К братской могиле пришли, когда солнце пекло уже изрядно.

—Пить! — атаковала старушку мелкота.

—Сейчас, сейчас! Зайдем в ограду, за водой пошлем и напьемся...

Шкетов, не выпуская знамя, гордо разпахнул раскрашенные им ворота. Ему действительно было чем гордиться. Художественное богатство и красочность, созданные им при помощи всего лишь охры и сурика, были необычайны. Столбы ворот напоминали бы зна току о затейливо-цветистых узорах островов Маори, а над ними к перекладине была прибита гладильная доска из детдома. На ней же во всю мощь сурика надпись: "ВОРОТА КОММУНЫ!!!"

Восклицательные знаки, с любовью выписанные экспансивным Шкетовым, нарастали в пафосе темпов третьей пятилетки.

Но когда вошли в ограду, вопрос о питье встал во весь рост. Шкетов, при попытке командировать его за водой, лишь присвистнул в дырку выбитого зуба:

—Хватились! Ближе Безопасного ни чорта не сыщешь! Теперь хана!— и сплюнув через ту же дырку, добавил с мрачным презрением: —организаторы!..

Комсомолки растерянно переглянулись, но Серафима Порфирьевна духом не пала.

—Будет вода! Сейчас будет! Я еще неделю назад председателю говорила... Он обещал бочку прислать. Наверное, вслед за нами идет...

Солнце поднималось все выше и выше, а активность масс опускалась все ниже и ниже. "Пить, пить" стало лейтмотивом увертюры торжества. Малыши уже не резвились, а тихо сидели вдоль забора. Кое-кто из них заснул.

Понемногу подтягивались и неорганизованные массы, но в оградку они не попадали. Комсомолки предусмотрительно завязали ворота носовым платком. Эта мера была вызвана явной утечкой большей половины пятого класса.

Наконец, часа через два, в облаке пыли подкатил древний районный фордик и из него вылезло районное начальство в сопровождении Синькина. Комсомолки торопливо развязали ворота.

—Заострим внимание!— гордо указал Синькин на надпись. —Так решаем. Работа местного народного художника. Представлен к премированию.

—Жарища хуже чем летом,— отряхнул пыль с пиджака заврайоно. —Хорошо, что ситра взять догадались. Премировать тебя за это!— Он вытянул из под сидения заткнутую бумажкой бутылку и жадно вытянул из нее желтую, замутившуюся жидкость. —Ну, начинаем? Пошли к мавзолею.

У мавзолея — фанерного обелиска со смытой дождями надписью — стоял столик из кабинета Синькина и на нем большой школьный звонок. Туда же поставили последнюю бутылку ситро. Стакана не оказалось. Парторг этой детали не предусмотрел.

Первый, как полагается, говорил заврайоно и высосал большую половину бутылки. За ним "вспоминал" Синькин и допил остатки. Умудренные собственным, еще недавним опытом, полученным в педтехникуме, комсомолки тревожно поглядывали на редевшие задние шеренги школьников и "ворота коммуны", в которых грудились неорганизованные массы.

Третий оратор, предполагавший возвещать о культурных достижениях, видимо, сильно занизил свой план. Посмотрев на пустую бутылку, он мрачно спросил Синькина:

—Больше нет?— и получив отрицательный ответ, скомкал, спрятав в портфель, большую половину вынутых из него листов с записями.

Потом пели школьники. Альтов явно нехватало, — они, как известно, в младших классах редки, — а в среде оставшихся школьников явно преобладали первоклассники, побоявшиеся бежать по степи в единоличном порядке. Но учительницы-комсомолки все же вытянули. Настала торжественная для детдома минута. Серафима Порфирьевна оправила бантик на палочке и, подняв ее, оглянула ряды.

—Ну, все вместе!

"Старый мир уж до нас разрушали..."

Энтузиаст Шкетов, хоть хрипло, но громко подтянул:

”Мы обязаны новый создать . . .“
закашлялся и неразборчиво чертыхнулся: . . . с твоим новым миром! В глотке пересохло

”В нашем мире нет больше печали . . .“
энергично замахала палочкой с бантиком Серафима Порфирьевна.

— . . . больше печали . . . — уныло и безнадежно подтянули ближайšie малыши.

Прокашлявшийся Шкетов честно выполнял свои социалистические обязательства. Хрипя из последних сил, он вторил дребезжащему голоску старушки и пресекался лишь на последнем куплете. Вместе с ним угасли и последние всплески детских голосов. Кто-то из малышей всхлипнул . . .

”Давайте ж скорей подрастать . . .“ — пропела в полном одиночестве Серафима Порфирьевна, призывно уставив на заврайоно палочку с бантиком.

— Как раз тебе только подрастать и осталось! — мрачно буркнул тот. — Давно бы на пенсию тебя перевел, если б было кем заменить!

Не опуская знамени, Шкетов мрачно и решительно устремился к учительницам-комсомолкам:

— Платочком! . . . — презрительно процедил он. — Платочком ”Ворота коммуны“ завязали! А провод, какой я приготовил, куда дели?! Платочком . . . — еще презрительнее протянул он, сплюнув. — Три класса полностью смылись и наших полдома . . . Разве платочком кого в коммуне удержишь? Интеллигенция гнилая! Э-э-х! . . .

ГАЛОША СЧАСТЬЯ.

—Вам дана Росошь с прикреплением на три года. Распишитесь!— сказал мне сидевший за столиком "комнаты-душ" Бутырской тюрьмы дежурный мент, вручая постановление тройки.

—А где эта, извините за выражение, Росошь?— сколь возможно деликатнее поинтересовался я.

—Не знаете? А еще профессор! Кондуктора в вагоне спросите... А наши органы по теоретической географии справок не выдают.

В словах мента была заключена глубокая истина. В СССР действительно теоретически географию изучать не приходится. Не к чему. Так или иначе, но вы с ней все равно практически ознакомитесь.

Вот и теперь. Кондуктора, действительно, довезли меня до Росоши. Город этот, как оказалось, стоит на реке того же имени, но с добавлением к ней эпитета "сухая". В реке Сухой Росоши обитают многие миллионы раков и, кроме них, ничего. В городе Росоши — пять тысяч жителей, Заготзерно, прочие "заготы", а кроме того, имеется два кооператива и одна столовая. В них — тоже ничего.

Но это не достопримечательно. В каждом районном городишке такие кооперативы и столовые с ничегошним содержанием тоже имеются, а вот подлинной достопримечательностью города Росоши был высший государственный институт птицеводства, куда я и устремился в день своего прибытия в этот город.

Встретили меня там, как родного.

—А-а, голубчик, направлены к нам? На три года?

Это ничего! Ведь вам самому ясно-понятно, что ни один дурак сюда сам из Москвы не поедет... Только вот специальность у вас для нашего заведения неподходящая, не нашего, так сказать, профиля. Куры, они, знаете ли, в отрыве от истории литературы...

— Не беда, — отвечаю, — можно ввести дополнительный курс, например "диалектика революции в куроводстве". Наша литература чрезвычайно богата. Марфинька, например, в Гончаровском "Обрыве", как известно, сама ежедневно кур кормила, а у Толстовского Поликушки этой птицы было тридцать штук, в условиях кровавого царского режима... Толстой же, как известно, "зеркало русской революции", по гениальному определению еще более гениального Ленина... Курсик часиков этак на сто двадцать утвердите? А? Мне бы и хватило!

— Нет, — с большим сочувствием отвечают мои яично-птичные коллеги, — на курс у нас внеплановых средств нехватит. Мы вас лучше ученым секретарем определим. Справитесь?

— Конечно, справлюсь, — легкомысленно ответил я, не чувствуя тайного подвоха, — дело нехитрое: составил расписание, подсчитал фактические часы, сверил с планом — и все тут!

Но дело оказалось очень хитрым. Тайна его была заключена в том, что студенческих групп и лекторов одновременно работало семнадцать, а аудиторий и кабинетов для их работы было только шестнадцать. Как ни прикидывай, как ни уравнивай, все-равно одна группа оставалась беспризорной и никакая высшая алгебра тут уже не помогала. Ну, а отсюда, как полагается, неполадки, неувязки, засылы и прочие неприятные для уха подсоветского человека термины. Произойдет, например, такой случай: в одну аудиторию разом попадут сельхоз-экономист и математик, разделят территорию безо всякой агрессии и каждый со своими студентами начнет вполголоса заниматься. Все как будто бы ладно, но охватит их производственный энтузиазм, воодушевятся, возвысят голоса и получается:

—Явные экономические преимущества нашей колхозной системы . . . — рявкнет экономист.

—Равны нулю . . . — со столь же безудержным энтузиазмом отзовется математик.

А студенты у нас были очень внимательны, точные ребята: что услышат от профессоров, сейчас же в конспект себе заносят. Вот и тут: запишут разом обе услышанных реплики и получается некоторая неполадка.

Попробовал я изменить методологию и вместо математика совместил экономиста с химиком, да чуть дополнительного срока не получил.

—Во всех отделах и на всех точках нашей сельхозкооперации, — продиктовал экономист . . .

—Соли не содержится, — вывел свое заключение химик.

В это же время вся Центрально-Черноземная область, на территории которой находилась достопримечательная Росошь, переживала как раз очередной соляной кризис: капусту колхозники порубили, а засаливать нечем! Чуть-чуть не посчитали меня участником контрреволюционной кулацкой вылазки . . .

Ну, ничего! . . . Вышел я и из этого положения: стал направлять излишнюю группу на экскурсии. Коллеги сначала было запротестовали.

—На какого чорта и куда я группу поведу? — взъелся на меня математик. — Воробьев на навозе, что ли, считать?

—Социализм — это учет, — внушительно напомнил я ему гениальную формулу гениального Ильича и математик тотчас же сократился, учел затруднительность своего положения и увел группу на экскурсию. Что и где они считали, какими интегралами и дифференциалами оперировали — я не интересовался.

В общем и целом, зажил я . . . Перезнакомился. Люди оказались хорошими. Живут дружно, особенно студенты. Все охвачены единодушным монолитным энтузиазмом и выявляют его в полном единогласии.

—Заверстали нас по командировкам комсомола на

это куриное направление,— декламируют в один голос студенты, —и предстоит нам теперь широкое творческое развитие в яично-птичном комбинате... А мы-то...

Вот это "мы-то" у каждого было свое. Один мечтал мосты строить, другого привлекала борьба с вредоносными бактериями, третьего еще куда-нибудь тянуло... Бывали даже такие, что мечтали о лавровых венках и огнях рампы. С мечтателями этого рода я и потряхнул стариной: поставил комедию Шкваркина "Чужой ребенок" и, представьте, наши яично-птичные комбинаторы оказались "все на своих местах", как пишется в рецензиях. Особенно хорош был тот студент, который играл роль комического неудачника Сенички Перчаткина. Успех был сверхплановый. Мы сыграли комедию два раза в самом институте, потом на базах Заготзерна и Заготскота, а от скота перенесли нашу деятельность непосредственно в Горсовет. Там выступили перед объединенным пленумом горкома, райкома и еще чего-то. Достижение! Всех нас премировали, да еще как! Мне, как постановщику, дали в премию высококачественные бязевые кальсоны, на которых нехватало лишь пуговиц, героине — фильдеперсовы чупки (поди-ка, достань их в магазине!), а исполнителю роли Сенички — даже выговорить трудно! — настоящие глубокие галоши, агрегат очень редкий в советской действительности...

В Росоши же ценность этих галош была особенно высока. Дело в том, что река Сухая Росошь в основном была действительно сухой, но зато город — мокрым, особенно в течение трех весенних и трех осенних месяцев, следовательно суммарно целые полгода. Местная геологическая и климатологическая специфика требовала подвязывания галош электропроводом, так как простая бичева не выдерживала повышенной вязкости местной грязи и лопалась. В таких случаях счастливым обладателям галош приходилось выгребать свои сокровища из грязевых недр при помощи обеих пятерней.

Но вы представляете радость и гордость Сенички,

ставшего обладателем такой абсолютно недоступной яично-птичному студенту роскоши? Он тотчас же забил полуномером "Комсомольская правда" два номера галош, пришедшихся ему сверх нормы, прикрутил к ногам драгоценные агрегаты двойным проводом и ликующе, как на первомайской демонстрации, зашагал по улицам, не опасаясь их центрально-черноземных массивов.

Это происходило весной, а особенность гидроклиматической специфики Росоши заключалась еще и в том, что в дни ледохода Сухая Росошь переставала быть сухой и обильно увлажнялась. Учитывая это, Горсовет именно к этим дням приурочивал ремонт единственного (в другое время ненужного) моста. Его настил разбирали и складывали на берегу для перелицовки, а по балкам моста набрасывали для пешеходов узенькую дорожку в одну скользкую, обледенелую досочку. Перебираться по ней на другой берег рисковали немногие, только по служебным обязанностям. Оно и к лучшему, чего зря таскаться?

В один из таких весенне-ремонтных дней в мою одинокую комнату стремительно ворвался Сеничка, как я буду называть игравшего эту роль студента. Он был мокр с головы до ног. Струйки воды еще стекали с его густых пышных волос. В руках он держал свои драгоценные галоши. На его лице явно обозначалась сложная комбинация объединенных горя, страха и растерянности.

—Сеничка, что с вами?

—Вычистили!

Спрашивать больше было не о чем. То, что Сеничкин отец при НЭП'е держал мелочную лавочку, я знал и без того. Студенты нередко со мной откровенничали. Сеничку вычистили с последнего курса, перед самыми государственными экзаменами...

—Ну, а почему вы мокрый? Топиться, что ли, хотели?

—Мокрый?— удивленно оглядел себя Сеничка,

— Действительно мокрый. Это галоши. В общем и целом, они всему виною. С галош-то все и пошло.

— Хоть убейте меня, Сеничка, ничего не понимаю!

— На общем собрании кто о папашкиной торговле заявил? Жорка! А почему? От зависти. Потому что мне роль Сенички дали, а ему — инженера, тусклую роль, бесцветную... У меня — успех, мне — галоши, а Жорке в премию — поясок! Разве поясок может с глубокими галошами равняться? Ясное дело, его завидки взяли. Все беды мои из-за галош!.. И в речку я через них свалился.

— Ну, рассказывайте об этом приключении.

— Да что там рассказывать! Я как узнал о постановлении — сейчас к вам посоветоваться... Ну, конечно, заторопился, да впопыхах и проводку забыл!

— Какую еще проводку?

— Ну, электропроводом галоши к ногам прикрутить. Стал мост по дощечкам переходить — ремонтируют его ведь — по жердочкам надо, а жердочки обмерзли... Ноги в галошах и повихнулись...

— И вы упали?

— Ясно-понятно, упал.

— Неужто с головой окунулись?

— Ну, куда с головой! Там воды и до пояса не хватало.

— Почему же волосы мокрые? С них вода капает.

— Это я нырял.

— За каким же чортом?

— Опять за ними, за чертями, за галошами.

— Как за галошами?

— А как же: одна в воде соскочила и пошла по течению... Я ее уж в метрах трех поймал, нельзя ж упускать. Теперь посоветуйте лучше, что мне делать?

Найти выход из Сеничкиного печального положения было действительно трудно. Ломалась молодая, только что начатая жизнь. Мы оба молчали. Под Сеничкой натекла уже порядочная лужа. Обе свои галоши он держал в руках и глядел на них с немой печалью. Потом поднял глаза на меня и вдруг широко улыбнулся.

Улыбнулся и запел нечто похожее на ту песенку из "Чужого ребенка", которой он стяжал себе особенно бурные аплодисменты:

—Засяду в свою я галошу,

—Покину я город Росошу

—И целую жизнь просижу...

—А где — это я вам скажу! — допел я ему в тон, будучи внезапно осененным счастливой мыслью. — На сцене, Сеничка! На сцене, говорю вам! В театрах, положим, тоже чистки бывают, но сравнительно слабенькие. Милостив Бог, проскочите! Идите в актеры, Сеничка, поступайте на сцену, да куда-нибудь подальше, где про торговлю вашего папашки не осведомлены.

—А... как без специального образования? — замялся Сеничка, не стирая с лица теперь уже засветившейся надеждой улыбки.

—Что значит для актера специальное образование? Способности у вас есть. Работайте над собой. И Шаляпин в консерватории не был, и Толстого из университета за неуспешность вышибли... Верьте в себя! И мне вот еще какая мысль пришла: я вам письмо дам к одному моему приятелю, он художественный руководитель театра юного зрителя в одном из индустриальных районов Урала. Замечательный парень! Он вас примет и поможет вам. К чорту яично-птичное направление! Да здравствует сценическое искусство! А галоши храните. В них ваша судьба! Рок!

—Рок там или не рок, а, конечно, не брошу! Столько через них перестрадал, надо и пользу получить. Где другие достанешь?

На следующий день Сеничка, вероятно, навсегда покинул город Росошь. Мне он прислал одно письмо с нового места, но я, признаюсь, не ответил. А шесть лет спустя, в 1940 году я прочел его имя в одном из театральных журналов. Оно стояло в списке ведущих артистов Свердловского, очень значительного театра.

Не подвела галоша!

ЗАМЕРЗАЮЩИЙ МАЛЬЧИК.

Все было именно так, как полагается в добропорядочном Рождественском рассказе. Стояла суровая снежная зима 1944-45 гг. Волки спускались с лесистых склонов Фриулийских Альп почти к самому Толмеццо, и наши казачьи посты ночами по ним постреливали. Порывистый ветер "трамонтано" завывал в трубе полуразрушенного дома, а у грубо сложенного из диких камней очага грелось четверо бездомных путников... Был даже неизменный в рассказах милого старого времени добрый доктор. Очень добрый — наш старый друг с покинутой родины, Михаил Юльевич. Кто его там не знал? Он горздравом заведывал.

—Итак, нехватает только традиционного Рождественского "замерзающего мальчика". Мы все, пожалуй, несколько староваты для этого ампула,— сказал младший из нас, носивший звание капитана РОА.

—С этим персонажем теперь туговато. Здесь его не найдешь,— отозвался журналист. —Да и "там", признаюсь, не встречал в натуре: привык к холоду в квартирах подсоветский народ... Беспризорники? Они лучше всех приспособились! У нас, например, в редакции в свалке макулатуры комфортабельный отель себе устроили. Сторож ими только и жил. Каждую ночь ему бывала бесплатная выпивка с закуской.

—Ну, это как сказать,— задумчиво произнес доктор, —замерзающий Рождественский мальчик — что-то вроде "вечного типа". Он и в наши дни попадается.

—И вам встречался?

—Случалось.

—И вы — подлинный советский врач — выполняли рождественские обязанности Николая Ивановича Пирогова? Ведь именно он особо излюблен российскими рождественскими авторами!

—Не вполне, но так... бочком... вроде эрзац-Пирогова, выражаясь по современному.

—Быть не может! Расскажите! — загалдели все разом.

—Тут мало того, о чем рассказывать. Вы и сами все это знаете. Зиму 1941-42 годов помните? Помните, наверно, и эшелоны с беженцами. Они медленно ползли с запада на восток, подолгу простаивали в ожидании паровозов. Ехавшие в них голодали, меняли на хлеб свой последний скарб, вшивели, болели... Особенно плохо приходилось детям... Сколько их позарыто в глине железнодорожных насыпей близ степных станций — один Бог только знает! Тиф, инфлюэнца, коклюш косили их сотнями. А с наступлением холодов еще хуже стало — подмерзать начали. К тому же в Махач-Кала образовалась пробка тысяч этак в 40-50, и все составы, шедшие в теплые края, стали. И вот...

Доктор подумал с минуту.

—За два дня до Рождества получаем приказ: принять два вагона сирот и разместить среди населения (детдома были уже перегружены). На приказе же штемпель командования: "Оглашению не подлежит".

Вот вам и задача! Два вагона, это около сотни ребят... Кому раздать? Всем самим уже есть нечего. По карточкам, кроме хлеба, ничего, а на базаре — не приступись! Ведь вы помните это время в нашем городе? — обратился он к журналисту. — Когда немцы первый раз Ростов брали? А тут еще "оглашению не подлежит"!

Как быть? Собрались мы совместно с гороно и с представителями горкома, заседаем, преем, как говорится, а выдумать ничего не можем.

—Ну, и кто же вас выручил?

—А выручила... баба наша российская — уборщица горсовета, техничка Аннушка... А может быть

и Она . . . Заступница Небесная . . . Не знаю, я ведь врач, метафизики разные не мое дело . . .

—Ну, рассказывайте же толком!

—Говорю же — рассказывать нечего! Слушает нас эта Аннушка и говорит: "Никакого оглашения и не надо. Вы только срок укажите, когда ребят разбирать, а женщины сами набегут. . ."

—Да как же они узнают?

—Очень просто,— отвечает Аннушка, —мы промеж себя скажем. Одна от другой — так и пойдет . . .

Срок я знал точно: прибытие вагонов в ночь под Рождество. С утра прием на станции.

Пошли мы туда всей комиссией, как полагается. Идем и сами не знаем, что будем делать. Глядим, а на станции уж целое женсобрание. Откуда их столько набралось — до сих пор не пойму! Станционный энкаведист меня в сторонку отводит:

—Вагоны в тупике. Оцеплены. Сначала произведите отбор.

—Какой отбор?— спрашиваю.

—Замерзших выделите и оставьте в вагонах. Живых выводите на перрон.

Вот тут-то, господа, я и повидал "замерзающих рождественских мальчиков". Вернее . . . уже замерзших. Тридцать пять лет я практикую. Третью войну руки-ноги режу, животы порю . . . А тут, признаюсь, и меня передернуло. Да и не меня одного. Энкаведист сунулся за нами в вагон, да и выскочил, зажав глаза руками, а тоже, наверное, кое-что повидал . . . Ребятишек этих на Кавказской в вагон без печей перегнали. Везли до нас всю ночь. А мороз свыше двадцати градусов, с ветром . . . Помните?— обратился доктор к журналисту.

Тот кивнул головой.

—Помню эту встречу Рождества.

—Так вот, конкретно. Цифры точны: тридцать шесть осталось в вагоне, семерых немедленно, минуя перрон, в больницу, а двадцать три к женщинам вывели.

Что тут делалось, господа, рассказать не сумею. Одним словом, ребят наших шибче, чем мануфактуру без очереди, расхватали. Мы едва записать успели. И дети ревут, и бабы ревут... Каждая к себе тянет! А ведь сами голодные! Почти каждую я знаю: тридцать лет в нашей родилке работал, все через мои руки прошли...

Доктор замолчал.

—Да. "Замерзающие мальчики" налицо. Даже в массовом порядке,— резюмировал журналист. —Я что-то слышал тогда об этом мельком. Но из вас, доктор, рождественского Пирогова все-таки не получилось: ваше дело — сторона: принял — выдал.

—Я же вам сказал, что эрзац-Пирогов. Вот и прослушайте об эрзаце.

—Будет продолжение?

—Самое удивительное, на мой взгляд вроде чуда... Развели детей женщины, и вдруг Дуся ко мне бежит. В одном жакете она со мной жила и, кроме того, я же ей операцию тогда делал: стопроцентное бесплодие. Как узнала, что всех ребят уже разобрали — села на землю и волосы на себе рвет:

—Только сейчас, —кричит, —узнала! Бегом сюда с Батальонной (это километра четыре до станции). Один случай был — ребеночка получить, и тот упустила!

—А я что могу сделать?

Вдруг санитарка-студентка мне на ухо шепчет:

—Там в вагоне один сомнительный. Кажется, признаки жизни подает. Как поступить?

—Эх,— думаю, —была не была!— шепчу тихонько Дусе: —Обходи сторонкой к водокачке и жди!

А сам иду с санитаркой. Вынесла она мне этого сомнительного из вагона. Я его прослушал тут же на морозе. Верно, жив еще. Однако, никаких сомнений: больше часу не протянет. "Скорая помощь" уже в больницу ушла. А мне словно шепчет кто: "Отдай Дусе! Отдай Дусе!"

Провел я санитарку сквозь оцепление и прикажу ваю ей:

—Сыпь с ним бегом к водокачке. Там женщина ждет, ей отдай. Да и сама с ней иди оказать первую помощь.

Вот вам и моя эрзац-пироговская роль. Говорю же вам: не совсем Пирогов, а вроде.

—Ну и что же?

—Что?— удивился доктор.

—Развязка рассказа? Мальчишка этот остался жив или нет?

—Можете сами удостовериться. Не только вопреки всем законам медицины выжил, но и зимний поход с Кубани до Триеста вместе с эрзац-родителями проделал. Могу вам завтра его, шельмеца, продемонстрировать.

Антонетт Богдан

НА БАЗЕ МАРКСИЗМА.

Придется начать издалека, со дня прихода немцев в областную столицу Северного Кавказа — Ставрополь...

Так вот, свершилось это знаменательное событие очень просто: проснулись 3-го августа 1942 года ставропольские граждане, как и полагается, при советской власти; побежали кто на службу, кто в очередь. Часов в десять утра с неба посыпались бомбочки, а советские власти срочно и даже без командировочных удостоверений посыпали на Махач-Калу; потом была небольшая заминка с перестройкой своей идеологии, пока в три часа дня, в Горсовете, под неснятым портретом "мудрейшего" не сел очень обыкновенный немецкий комендант. Вот и все.

К этому-то коменданту пришел я и сказал по-немецки:

—Я хочу выпускать свободную русскую газету.

—Очень хорошо,— ответил комендант, —цензурировать вас будет оберст фон-Майер. Он же даст вам сводку. Это очень милый человек.

Комендант не соврал. Полковник фон-Майер был действительно очень милым человеком, не то немцем русского происхождения, не то русским немецкого происхождения. Мы с ним разом договорились.

Дальше пошло еще проще. Оказалось, что все работники типографии даже домой не уходили для перестройки идеологии, только директор сбежал, прихватив кассу; и рулон в машине, и метранпаж пропустил полагающийся ему по штату стаканчик, и даже гото-

вый секретарь редакции за столиком сидел. Очень хороший секретарь — Михаил Матвеевич...

Что же оставалось делать мне? Только объявить себя редактором-издателем и начать передовую великими словами, прозвучавшими за 81 год до того:

"Осени себя крестным знаменем православный русский народ..."

На утро 4-го августа по Сталинской улице уже бегали мальчишки, крича:

—Беспартийная свободная русская газета! Первый номер! "Утро Кавказа"!

Ее рвали нарасхват... Так нарасхват, что в полдень пришлось дать второй, дополнительный тираж.

Ну, а дальше дело покатилося, как снежный ком: из бухгалтерии Плодоовоща пришел острый фельетонист "Аспид"; юный советский врач забежал по городскому репортажу, литературный отдел возглавил сумрачный доцент, а театральную рецензию повела поэтесса Лелечка... Тираж возрос до 20.000, и я сам перебрался из будки садового сторожа в квартиру сбежавшего завкрайземотделом. Мягкая мебель, пианино, бледный свет палевой лампы...

Бывали и некоторые затруднения. Появляется, например, офицер СС и, как полагается эсэсу, чеканит:

—Не позже двенадцати часов следующего дня сжечь всю имеющуюся в редакции советскую литературу! Всю! Пропагандную, научную, беллетристику! Полностью!

Как громом хватило! У нас уже, кроме богатого книжного наследства большевистской газеты, еще библиотека обкома партии прихвачена. Какие издания! Заглядение!

—Вас проконтролирует зондерфюрер Эрхарт. Всю! Это приказ!

Эрхарт? Георгий Карлович? Ну, это легче. Он тоже немец русского происхождения, сын петербургского кондитера. О немцах он говорит "они", а о русских — "мы". С ним сговоримся.

—Георгий Карлович,— телефонирую я ему, —тут приказ всю советскую литературу сжечь под вашим

контролем, так я вам на завтра все это ауто-да-фе подготовлю . . .

—Ладно, завтра я забегу посмотреть,— отвечает Георгий Карлович, —сегодня я со своим генералом занят.

Я знаю, что он всегда с генералом занят. И генерала этого знаю. Его зовут Любочкой. Очень хорошенький генерал. Сам же Эрхарт выполняет в Ставрополе работу современного "Голоса Америки". Он ведет крестьянскую пропаганду, то-есть раз в неделю повествует по радио о том, как зажиточно живут ганноверские бауэры и какие эти бауэры хорошие.

—Ну,— думаю я, —теперь, господа эсэсовцы, обойдетесь и одними "основоположниками". Их у нас целый вагон во всех видах . . . а все прочее при нас останется.

Наутро во дворе высится огромная куча книг в роскошных матерчатых красных, желтых, синих, голубых переплетах . . . Все классики марксизма во всех изданиях. Гора!

Но вдруг новое затруднение. Женский бунт. Меня атакуют разом три машинистки, две уборщицы, библиотекарша и во главе их . . . моя собственная жена. Ее речь совсем не парламентарна:

—Ты что это, совсем сдурел или еще соображаешь? Этакую ценность на улице жечь? Ты людям марксов раздай! Ведь всем топить нечем!

—Приказ Эс-Эс,— защищаюсь я. Но на счастье входит Эрхарт и атака обрушивается на него. Он защищается со всею стойкостью немецкого солдата, но разве устоять ему против русской бабы, коли она возьметса за дело?

—Знаете,— отводит он меня к окну, —пусть они разберут незаметно эту дрянь. Ведь я знаю, что топить нечем . . . А вы что-нибудь сожгите для вида . . .

Через полчаса на дворе нет ни одной книги, а мы с Эрхартом притаптываем маленькую кучку догорающих листков, раскидывая пошире их пепел.

—Приказ выполнен!

Вечером мы с женой сидим у ярко пылающей печки и подкидываем в нее смятые листки "Капитала" . . . Действительно — капитал! Тепло от него, уютно. Жена даже размечталась.

—Знаешь,— говорит она, —скоро ведь Рождество . . . Настоящее Рождество! К обеду пойдем . . . Давай устроим встречу, как следует. Позовем всех редакционных . . . Хорошо?

Я колеблюсь, но печка горит так уютно.

—На базаре теперь всего, сколько хочешь. Чорт их знает, откуда колхозники берут, а везут. Ты водки у немцев достанешь . . . Давай?

Печка горит ярко и уютно. В языках ее пламени мелькают позабытые образы . . . Разве устоишь перед ними!

Этим образам было суждено воплотиться. В Сочельник на маленьком столике стояла елка, а большой был покрыт единственной оставшейся простыней и на нем . . . все, "как при царизме", вплоть до гуся, выставившего ножки в бумажных розетках.

—Каково!— с торжеством восклицает жена. —Когда ты такое видел? И счет годам забыл, наверное! Сейчас и гости придут . . .

Но я с сомнением поглядываю на нее и на копошащегося под елкой сынишку.

—Конечно . . . Все это прекрасно . . . но только мы-то все не рождественские . . . Я понимаю, съедобным базар полон, а мануфактуры чорт-ма . . . Купить негде. Но очень уж мы оборванные.

Сияющее лицо жены расплывается в хитрой улыбке. Она на миг исчезает в спальне и, вернувшись, кидает мне что-то на руки.

—Вот она, мануфактура! Получай рождественский подарок!

Что это? Голубая рубашка из какой-то плотной материи и даже темно-синий галстук!

—Откуда?

—Не узнаешь? А еще "Краткий курс ВКП(б)" сдавал! Это он, "Краткий курс" в применении к жизни. А

галстук — "Вопросы ленинизма". Опять не понял? Все очень просто: отмочила материю с переплетов, отгладила и пошила... А у меня из Ленина платице! И какое хорошенькое вышло! Помнишь "основоположников", которых ты сжечь хотел? Вся редакция в них оделась к празднику. Это Люся-убрщица сообразила. Подожди минутку...

Она снова исчезает, прихватив сынишку, и снова появляется вместе с ним. Но какая метаморфоза! На ней — темнокрасное новое платье, а на мальчишке не трижды перелицованные штаны из латаного теткингогс капота, а настоящие, синие и к ним форменная матроска с таким же воротником...

Жена выглядит так же, как, вероятно, выглядел праотец Ной, спуская на воду оснащенный новенький Ковчег... Она вертит передо мной сынишку, демонстрируя все достижения "На базе марксизма-ленинизма".

— Из переплетов... только вот буквы не совсем отстирались. Но это ничего, даже удачно получилось. Смотри, на одной попochке у него "Маркс", а на другой — "Энгельс"... Изящно? И идеологически выдержано. Не придерешься. База! А по воротнику сзади узорчиком, как кайма — "Антидюринг"... Вот он где, подлинный-то марксизм!

— Велики твои достижения в применении на практике научных построений социализма, — констатирую я, — вот они, "основоположники", какие чудеса делают, а я-то, дурак, в антимарксисты лезу...

Борис Ширяев

Ди Ни в Итали

Отзывы о книге

Книга действительно нужная, — это человеческий документ исторического значения. Это показатель той международной опеки, которая ведала всеми несчастными, выброшенными за пределы не только своей родины, но часто за пределы простой человеческой жизни.

Много любопытного, много интересного пришлось пережить Ширяеву за эти нелегкие годы, много поистине трагического, неожиданного, тяжкого и мучительного, и все же все пережитое не сломало того, я сказал бы, запаса жизненных сил, которыми до сих пор профессор пользуется. Причем до странности вся книга пропитана некоторой долей здорового юмора и даже иронии. Ведь такая способность сохранилась в этой казалось бы в конец истерзанной душе человеческой.

Я читал книгу с карандашом в руке, чтобы отметить особо яркие факты, но подчеркиваний оказалось так много, что пришлось бы, если ими пользоваться для отчета газетного, переписать добрую часть книги.

Владимир Зеелер.

"Русская Мысль", № 510,
Париж, 12.12.1952.

**
*

Мне кажется, он не ошибся, дав нам, как лицо собирательное, некоего Андрея Ивановича, колхозника из-под Пятигорска, дед которого пришел в свое время на Кавказ из Тульской губернии. "Тогда на Кавказе земли пустой много было. Степь. И ему дали. Разом справно зажили." — "А потом?" — Ну, как обыкновенно. По Столыпинскому закону еще прикупили и

на хутор вышли. А потом и раскулачили нас. Обыкновенно . . . “

Эта обыкновенность судеб бесчисленных Андрей Ивановичей; обыкновенность их русского мышления, русской крепости и силы, дают Б. Ширяеву право утверждать, во первых, что для Андрея Ивановича и ему подобных “его родина не чудная мечта, не болезненный и чахлый призрак — она вполне конкретная и реальная: свой хутор под Пятигорском, свой огород, своя жена“ и что, во вторых, “почти все крестьянство, за исключением, конечно, кретинов, пьяниц, органических неудачников“, подобно Андрею Ивановичу.

Добавим к этому те строки, которыми Б. Ширяев кончает описание Володи-садовника и Володи-певца, двух молодых людей, являющихся полюсами “новой“ русской молодежи. Что общее для них? — “та отзывчивость к чужой беде, то бескорыстное желание помочь в ней, те проблески, каких уже не видно на просвещенном огнями реклам Кока-Кола Западе, но какие все чаще и чаще поблескивают в жуткой тьме осуществленного социализма.“

Вот каков обобщенный образ “жертвы эпохи“ — русского Ди-Пи. Образ этот типично русский, ибо “там“ — “жизнь иная, а люди те же“.

Г. Месняев.

“Новости Толстовского Фонда“ № 11 Нью-Йорк, 2. 1953.

**
*

“Ди-Пи в Италии“ один из видов хорошего оружия “холодной войны.“ Надо только ее перевести на иностранные языки. Автор может стать хорошим офицером “холодной войны“, но . . . сидит в итальянском лагере. Почему? Ведь без таких, как он, сама “холодная война“ превращается в бессмыслицу.

М. Б-ов.

“Новое Слово“ № 143,
Буэнос Айрес, 20. 11. 1952.

Цена книги 3 ам. долл.

Борис Ширяев

СВЕТИЛЬНИКИ РУССКОЙ ЗЕМЛИ

Отзывы о книге

В замечательных очерках, собранных в книгу под заглавием "Светильники Русской Земли" Ширяев с большой теплотой рассказывает о чуде Преподобного Сергия Радонежского, о Николае Чудотворце, пришедшем незримиными путями в Россию, ставшем наиболее чтимым святым на Руси — спасителем погибающих, заступником и утешителем.

И, вот, перед нами встает Соловецкая обитель. О ней, к нашему стыду, мы знали очень мало. И не предполагали Советы, выбирая святой остров местом ссылки для "перековки" сознания людей, что "там Христос совсем, совсем близко". Что оставшиеся на Соловецком острове подвижники силой Духа свершат новые чудеса, подобные тем, что записаны в Соловецких летописях и что Незримая Рука приведет на помощь изнемогающим в ссылке людям "утешительного попа" — отца Никодима, щедро делящимся с обездоленными богатством души своей — неиссякаемой, веселой радостью.

Мы видим его живого, осязаемого, "с бегущими к глазам лучистыми морщинками", окруженного отпетой шпаной, слушающей, затаив дыхание такие же живые и радостные, как он сам, "Священные сказки". Раздувающего в остывших душах Божий огонь, превращающий его в пламя веры...

Лидия Норд.

"Наша Страна" № 172,
Буэнос Айрес, 2.5.1953.

Ширяев умеет просто, без прикрас и нажимов, без усиленной утрировки рассказать о трагических случаях нашей не тяжкой, а какой-то, казалось бы совсем безысходной жизни. Борис Ширяев несомненно верующий человек, он знает, что такое людское горе, и как нуждается человек в поддержке, в сочувствии, в добром слове, в утешении, когда жизнь подпирает бедой, да так, терпеть уже становится не в моготу.

Ширяев в каждом человеке ищет и часто находит то "человеческое", без чего человек вообще не мог бы жить. Вот почему у него "Утешительный Никодим" приходит к нам со страниц этой небольшой книжки совсем живым — мы его видим, мы — с ним. И так он становится этот старенький, почти святой, служитель Бога нам близок, так мы его полюбили за его "любовь к ближнему", что искренне оплакиваем его такую же тихую, как вся его душевная жизнь, кончину.

А военкома Петра Сухова вы не видите? Не слышите, после того, как он "сдернул буденовку, остановился и торопливо, размашисто перекрестился" — его тоже торопливый полушопот: "Ты смотри... чтоб никому ни слова... А то в карцере сгною! День-то какой сегодня, знаешь? Суббота... Страстная..."

Разве это не жизнь, настоящая жизнь, со всеми ее гримасами, с се почти безумием, с верой и богохульством? — Во что она, эта жизнь обращается? Чем и кем стал человек? И все-таки где-то там, далеко, в глубокой темноте, теплится наша лампада, неугасимая лампада, которая дает нам силы и жить, и верить, и надеяться на светлое будущее... Если не для нас, то для детей наших.

Владимир Зеелер.
 "Русская Мысль" № 538,
 Париж, 20.3.1953.

11.55

6.30